интеллектуальный бестселлер



ГОНКУРОВСКАЯ ПРЕМИЯ 2019

18+

НЕ ВСЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ОДИНАКОВО

ЖАН-ПОЛЬ ДЮБУА

От лауреата Гонкуровской премии 2019

Не все люди живут одинаково

Жан-Поль Дюбуа

Аннотация
Жан-Поль Дюбуа. Не все люди живут одинаково
Скаген. Церковь, занесенная песком
Пастор в сомнениях
Глубина глоток
Тетфорд-Майнс
И вот орган замолчал
Монреаль, Квебек
Бобр Вайноны
Перед наступлением тьмы
Самолет, трактор и ожидание
Возвращение в Скаген
Благодарности

Аннотация

Пол Хансен отбывает двухгодичный срок в провинциальной тюрьме в Монреале. Мрачная и дышащая, она словно живая – так кажется заключенному.

Теперь жизнь Пола – бесконечный мир сырости, жестокости, отчаяния и рефлексии. Чтобы скоротать долгие часы, он бесконечно вспоминает о прошлом: о пасторе-отце, обожающей кино матери, о жене, собаке и престижной работе в многоквартирном доме «Эксцельсиор», в котором он провел больше четверти века. В чем же заключается история его жизни и какова та цепочка событий, что привела его к совершению преступления?

«Не все люди живут одинаково» – невероятно красивый и полный меланхолии роман об ушедшем счастье и безвозвратно утерянных возможностях.

Содержит нецензурную брань!

Жан-Поль Дюбуа
Не все люди живут одинаково

Посвящается Элен,
а также Цубаки, Артуру и Луи,
а также Винсенту Ланделю, по которому я скучаю, и памяти Жана-Мишеля Тараскона и Мишеля Рамоне

Все это заставляет задуматься о веренице дней, которой ничто не могло придать ни формы, ни направления, которую ничто не оживляет, никто не населяет и в которой ничто не имеет смысла.

Розалинда Краусс

Забыть бы этот день. Проиграл сегодня на бегах десять долларов. Вот незадача. Да лучше бы сунул хрен в блин с кленовым сиропом.

Чарльз Буковски

Снег шел целую неделю. Я смотрел из окна на ночь и слушал холод. Здесь холод рождает шум. Такой особенный, неприятный гул, создающий впечатление, что само здание, стиснутое ледяным кольцом, мучительно стонет, страдая от боли, вызванной сокращением тел под влиянием низкой температуры. В этот час тюрьма спит. Спустя некоторое время начинаешь привыкать

к ее метаболизму, и можно слышать, как она дышит в темноте, словно большое животное, иногда кашляет и даже рефлекторно сглатывает слюну. Тюрьма поглощает нас, переваривает, и вот мы, скорчившиеся в ее брюхе, затаившиеся в пронумерованных складках ее кишок, притихшие между двумя ее рвотными позывами, спим и живем, как только можем.

Исправительное учреждение города Монреаля, называемое «Бордо», поскольку было построено на территории одноименного квартала, расположено на бульваре Гоуин-Вест, 800, прямо возле реки Ривьер-де-Прери. 1357 заключенных. Восемьдесят два человека предали казни через повешение — до 1962 года. До того как здесь соорудили этот оплот неволи, местечко, очевидно, было чудесное — все как полагается: березы, клены, яркие метелки уксусного дерева, и высокие травы, и следы непуганых зверей среди высоких трав. Из этой фауны сейчас выжили только мыши да крысы. И, такова уж их неприхотливая натура, заселили замкнутый мирок запертого в клетку страдания. Они, судя по всему, превосходно приспособились к обстановке места лишения свободы, и их полчища заселили все уголки здания. Ночью отчетливо слышно, как грызуны

неутомимо трудятся в камерах и коридорах. Чтобы преградить им путь, мы засовываем смятые газеты или тряпки из старой одежды в щели под дверями или кладем их перед вентиляционными люками. Ничего не помогает. Они проникают куда угодно, проползают, протискиваются и делают свое черное дело.

Тип камеры, в которой я живу, прозвали «кондо», что означает «квартира». Такого иронического названия это помещение удостоилось по той причине, что оно немного просторней, чем обычная камера, в которой все, что оставалось в нас человеческого, приходилось ужимать на территории в шесть квадратных метров.

Две кровати, стоящие одна напротив другой, два окна, две прибитые к полу табуретки, две полки, умывальник и унитаз.

Я делю это помещение с Патриком Хортоном, громадным детиной размером в полтора человека, который вытатуировал историю своей жизни на спине, а историю своей любви к мотоциклам «Харлей — Дэвидсон» — на плечах и груди. Патрик ждет суда по делу об убийстве одного из «Ангелов ада», принадлежащего к монреальскому чаптеру: его расстреляли на полном ходу соратники, которые заподозрили его в сотруд-

ничестве с полицией. Хортона обвиняют в том, что он участвовал в этой экзекуции. Учитывая внушительные габариты и принадлежность к мотоциклетной мафии, имеющей в активе длинный список убийств и преступлений, все тюремное народонаселение почтительно расступается перед моим соседом, как перед каким-нибудь кардиналом, когда он прогуливается по коридорам сектора Б. А поскольку все знают, что я делю с ним уединение нашей камеры, я пользуюсь таким же уважением, как и этот местный нунций.

Вот уже две ночи подряд Патрик стонет во сне. У него разболелся зуб, а судя по стреляющей боли, там образовался абсцесс. Хортон несколько раз жаловался охраннику, и тот в конце концов принес ему тайленол. Когда я спросил, почему же он не запишется на прием к дантисту, он ответил: «Никогда. Если у тебя дупло в зубе, здесь эти сукины дети не будут ведь тебя лечить. Выдернут и все. А если два зуба больные, оба выдернут».

Мы соседствуем уже девять месяцев, и получается скорее неплохо. Оба по прихоти капризной судьбы оказались здесь примерно в одно и то же время. Почти сразу Патрику захотелось узнать, с кем же ему предстоит делить одно очко в клозете. И я рассказал ему свою историю, бесконечно

далекую от жизни «Ангелов ада», которые контролируют весь наркотрафик нашей провинции и без малейших колебаний развязывают войны, сопровождающиеся вонью бензина и ревом мотоциклов, — как, например, та, которую они начали против своих извечных врагов «Рок-машин». В этой войне с 1994 по 2002 год в Квебеке погибло сто шестьдесят человек. Потом «Рок-машины» влились в клуб «Бандидос», который вполне оправдывает свое название, но тем не менее тоже понесли потери: восемь трупов, все члены группировки были небрежно разбросаны по четырем машинам, поставленным рядком. Все машины были зарегистрированы в провинции Онтарио.

Когда Патрик узнал, за что меня посадили, он заинтересовался моей историей с доброжелательностью специалиста, наблюдающего за первыми неуклюжими попытками ученика. Едва я закончил свое бесхитростное повествование, он почесал мочку уха, изъеденную алой коростой. «Когда тебя увидел, я и не подумал бы, что ты способен на подобные штуки. Все правильно ты сделал. Это точно, отвечаю. Я бы его вообще убил».

Может быть, в конце концов я именно этого хотел и, по словам свидетелей, так бы и сделал,

если бы шестеро решительных мужчин не объединились, чтобы удержать меня. По правде сказать, помимо того, что мне рассказывали, я особенно ничего и не помню по поводу самого происшествия. Моя память, казалось, полностью стерла все загруженные данные вплоть до момента, когда я очнулся в посленаркозной палате отделения «Скорой помощи».

«Да, бля, я бы убил этого гада! Из таких кишки надо выпускать». Его пальцы по-прежнему теребили горящее ухо, он тяжело переминался с ноги на ногу. Охваченный смутным гневом, Патрик был уже практически готов пройти сквозь стены. Чтобы завершить работу, которую я начал и, как он считал, запорол. Когда я видел, что он вот так ревет, расчесывая воспаленную кожу, я вспоминал знаменитое высказывание антрополога Сержа Бушара, специалиста по культурам американских индейцев: «Человек — это медведь, с которым что-то пошло не так».

Вайнона, моя жена, была индианка из племени алгонкинов. Я много читал Бушара, чтобы узнать о ней побольше. Я был тогда еще всего лишь невежественный и неуклюжий француз, который не имел почти никакого представления о способах установки вигвама, о священных и мистических

правилах заготовки табака, о важной для понимания сути легенде о еноте, о преддарвинистском утверждении о том, что человек произошел от медведя, и об истории, которая объясняет, почему у карибу белая шерсть на горле.

В ту эпоху тюрьма была для меня всего лишь абстрактным, теоретическим понятием, злой шуткой судьбы, выкинувшей кости таким образом, что вам приходится некоторое время провести на поле «тюрьма» в «Монополии». И этот мир, пронизанный невинностью, казался незыблемым и вечным, как и мой отец, Йохан Хансен, играющий на струнах в сердцах людей и на клавишах Хаммонд-органа в протестантском приходе, притопленном потоками благословенного асбеста; как Вайнона Мапаши со своей алгонкинской прелестью, выписывающая круги на самолетике-такси «Бивер», чтобы неспешно развести всех клиентов по побережью всех северных озер; как моя собака Нук, которая только-только родилась и смотрела на меня большими черными глазами, как на начало и конец всего сущего.

Да, я любил это время, уже давно прошедшее, когда трое моих родных покойников были еще живы.

Мне так хотелось бы вновь обрести сон. Не обращать внимания на крыс. Не чувствовать больше запаха немытых мужских тел. Не слушать завывания зимы через стекло. Не заставлять себя есть бурую курицу, сваренную в жирной воде. Не бояться быть забитым до смерти за неосторожное слово или понюшку табака. Не быть вынужденным мочиться в раковину, потому что после определенного часа заключенные не имеют права спускать воду в унитазе. Не видеть ежедневно, как Патрик Хортон спускает штаны, садится на толчок и испражняется, рассказывая мне при этом о цилиндро-поршневой группе своего «Харлея», который, когда тормозил, «дрожал словно в лихорадке». Каждый сеанс дефекации он усердно трудится и одновременно общается со мной так спокойно и расслабленно, что создается впечатление: его мыслительный и речевой аппарат полностью отсоединен от ректальной деятельности. Он даже не пытается как-то модулировать звук выходящих газов. Завершая процесс, Патрик продолжает просвещать меня на предмет надежности современных моторов на так называемом сайлентблоке, то есть резинометаллическом шарнире, потом поправляет порты с видом человека, вернувшегося после

трудного дня, и раскладывает на сиденье свежую незапятнанную салфетку, призванную служить стульчаком, что для меня в душе означает что-то типа «конец аудиенции» или «Ite missa est»[1].

Закрыть глаза. Спать. Это единственный способ выйти отсюда, спастись от крыс.

Летом, встав в углу того окна, что слева, я мог увидеть воды Ривьер-де-Пьери, несущиеся на полной скорости к острову Бурдон и к острову Бонфуан, чтобы влиться в реку Святого Лаврентия, которая их принимала гостеприимно и хоронила в своей толще. Но этой ночью ничего не было видно. Снег скрадывал все, даже мрак.

Патрик Хортон этого не знал, но в эти часы случалось, что меня навещали Вайнона, Йохан или Нук. Они входили, и я видел их столь же отчетливо, столь же детально, как тюремную убогость, въевшуюся в стены камеры. И они говорили со мной и были совсем рядом, совсем близко. С того момента, как я потерял их, они свободно перемещались в моих мыслях, чувствовали там себя как дома, жили во мне. Говорили то, что хотели сказать, занимались своими делами, пытались помочь разобраться в бардаке моей жизни и

[1] Примечания: 1
«С миром изыдем», можете идти, это конец службы (*лат.*).

всегда находили слова, побуждающие меня в конце концов успокоиться и уснуть. Каждый как умел, своими способами, своими стараниями поддерживал меня, никогда при этом не осуждая. Особенно когда я попал в тюрьму. Они не больше моего понимали, что же на меня нашло и как так случилось, что жизнь порушилась в считаные дни. Да и приходили они не затем, чтобы раскапывать причины несчастья. Они просто пытались восстановить нашу семью.

В первые годы мне было ужасно трудно привыкнуть к той мысли, что теперь я живу вместе со своими умершими родными. Что я могу без малейшего усилия услышать голос отца, как в ту пору, когда я был ребенком, мы жили в Тулузе и мама нас любила. С Вайноной неловкость рассеялась очень быстро, поскольку она загодя ввела меня в этот загадочный алгонкинский инфрамир, в котором спокойно соседствуют живые и мертвые. Она часто говорила, что нет ничего более нормального, чем допустить для себя возможность диалога с усопшими, которые сейчас живут в другой вселенной. «Наши предки продолжают существовать, только по-другому. Поэтому их хоронят вместе с любимыми и нужными при жизни вещами, чтобы они могли

по-прежнему заниматься привычной деятельностью». Мне очень нравилась хрупкая логика этого мира, пронизанного надеждой и любовью. Они отправляли на тот свет инструменты, которые при жизни здесь использовали их умершие владельцы, полагая, что там они смогут работать, и даже электроприборы непременно подойдут к напряжению и типу розеток невидимого мира. Что касается Нук, моей собаки, которая знала все о времени, людях и законах зимы и которая читала нас как открытую книгу, она просто приходила и ложилась рядом со мной, как всегда делала при жизни. Она нашла меня, не прибегая к помощи шаманов, лишь по одному воспоминанию о моем запахе. Прошлась по сумеречной стороне и просто-напросто вернулась домой и легла возле меня, продолжив тем самым нашу совместную жизнь с того места, когда она была прервана.

Я был отправлен в тюрьму «Бордо» в тот день, когда в Америке избрали Барака Обаму, 4 ноября 2008 года. Это был для меня долгий и мучительно тяжелый день: меня привезли в здание суда, я ждал в коридоре начала заседания, потом предстал перед судьей Лоримье, который, несмотря на довольно доброжелательный тон при допросе, явно где-то витал, его одолевали сонмы

каких-то посторонних мыслей; мой депрессивный адвокат вел дело просто фантастическим образом, называл меня «Янссен», придумал мне какое-то «скрытое шизоидное расстройство», одним словом, было похоже, что он дело впервые увидел на суде или готовился по материалам досье кого-то другого; бесконечное ожидание вердикта, который наконец пробубнил судья Лоримье, сразу же забыв об этом вместе со всеми остальными членами суда: мера наказания — два года лишения свободы; дорога из суда в узилище под проливным дождем, пробки, приезд в тюрьму, процедура идентификации, унизительный обыск, три сокамерника в комнате, просторной, как велосипедный гараж, «Заткни дышло, давай кочумай, поэл, да?», матрас прямо на полу, среди крысиных какашек, застоявшийся запах мочи, поднос с едой, бурая курица, черная ночь.

За месяц до того, как Барак Обама официально занял свои апартаменты в Белом доме, я тоже был переведен в мое новое обиталище, то самое «кондо», которое мы и поныне делим с Патриком Хортоном. Благодаря этому переезду я был вырван из ада, из алчного брюха сектора А, где насилие и агрессия наполняли все дневные часы, а иногда и ночные. Здесь хотя я и утомлялся от

непрерывного потока слов и бурных эмоций соседа, но зато был защищен его авторитетом и мощью, и жизнь стала более сносной. И потом, когда я слишком уж уставал от себя и невыносимого гнета времени, достаточно было отрешиться и отдаться медленному и упрямому ритму тюремного расписания, подчиниться размеренной программе ее режима дня.

7.00, подъем, камеры открываются. 7.30, завтрак. 8.00, деятельность по секторам. 11.15, дневной прием пищи. 13.00, деятельность по секторам. 16.15, вечерний прием пищи. 18.00, деятельность по секторам. 22.30, отбой, камеры закрываются. Запрещается курить как внутри, так и на внешней территории заведения. Запрещенные предметы потребления: игровые приставки, компьютеры, мобильные телефоны, фотографии порнографического характера. Кровать должна быть заправлена до 8.00, уборка каждое утро до 9.00.

Меня охватывает очень странное чувство оттого, что я до такой степени управляем со всех сторон и при этом лишен какой бы то ни было ответственности. В течение двадцати шести лет в районе Ахунтсик, менее чем в километре от этой тюрьмы — для меня первое время очень мучи-

тельно было находиться так близко от дома, — я занимал весьма непростую должность суперинтенданта, то есть помесь консьержа с волшебником, фактотума, мастера на все руки, способного привести в порядок и наладить весь маленький мирок целиком — сложную систему, состоящую из кабелей, труб, соединений, отводов, колонок, сливов, регистрирующих приборов; маленький изменчивый мирок, который то и дело ломался, устраивал крушения и неполадки, летел псу под хвост, создавал проблемы и требовал много знаний, умений, опыта, наблюдательности и порой немного удачи. В здании «Эксцельсиора» я был чем-то вроде deus ex machina, мне было доверено отвечать за обеспечение, содержание, контроль и функционирование этого жилого комплекса на шестьдесят восемь жилых владений. Все жильцы — собственники квартир, в их распоряжении сад с деревьями и цветником, бассейн с подогревом объемом 230000 литров воды, очищенной солью, безупречная подземная парковка с собственной автомойкой, спортивный зал, вестибюль с залом ожидания и стойкой ресепшена, комната для общих собраний, называемая «Форум», двадцать четыре видеокамеры и три вместительных лифта марки «Кон».

В течение двадцати шести лет я проделывал громадную работу, увлекательную и вместе с тем нескончаемую, практически невидимую глазу, поскольку состояла она исключительно в том, чтобы поддерживать нормальное жизнеобеспечение и бесперебойное функционирование коммуникаций для шестидесяти восьми помещений, которые изнашивались от времени и климатических явлений, а также устаревали. 9500 дней наблюдения, отслеживания, проверки, 9500 дней починки, налаживания, кружения по крыше, беготни по коридорам, 104 времени года, когда время от времени приходилось вдобавок к основным обязанностям помогать советом, утешать вдов, навещать больных или даже провожать покойников в последний путь, как пару раз бывало.

Я полагаю, что причины жертвенности и самоотверженности, которые мне приходилось проявлять все эти годы, чтобы поддерживать на плаву эту конструкцию, коренятся в воспитании, данном мне Йоханом Хансеном, по профессии протестантским пастором. Заниматься подобными вещами, прикладывать при этом большие усилия, скрупулезно вдаваться в детали, регулярно, внимательно и тщательно выполнять

неблагодарные задачи, по-моему, было вполне в духе Реформации — таком, какой Йохан прославлял в своих храмах.

Я ничего не знаю о человеке, который сменил меня на посту, согласившись погрузиться во внутренности этой резиденции. Не знаю ничего и о том, что собой сейчас представляют потроха «Эксцельсиора». Знаю только, что очень скучаю по этому маленькому затейливому мирку на шестьдесят восемь квартир, способному изобрести неисчислимое множество забот, поломок и загадок, с которыми приходится разбираться. Случалось мне разговаривать с вещами и машинами, и я даже осмеливался верить, что им иногда удавалось меня понимать. Сейчас мне остался только Хортон, его зуб и его рычаги, шатуны и поршни. Я, который так долго содержал весь «Эксцельсиор» и управлял им, поддерживая в безупречном состоянии, отныне вынужден довольствоваться умиротворяющим «режимом дня» моего нового обиталища. 8.00 — деятельность по секторам, 16.15 — вечерний прием пищи, 21.00 — рассказ о деятельности «Ангелов Ада», 22.30 — отбой, камеры закрываются.

Сегодня утром, едва проснувшись, Патрик позвал охранника и попросил назначить ему

прием у дантиста. Боялся он этого больше, чем вооруженного налета «Бандидос». Ночью щека раздулась, и боль стала нестерпимой. Он метался взад-вперед по камере, как насекомое, которое пытается выбраться из бокала. «А тебя не затруднит убрать сегодня утром мою кровать? Мне правда так плохо от этого зуба. Я унаследовал это от отца. Тоже страдал кариесом. Генетика, судя по всему. Что? Да откуда я знаю, не доставай меня своими долбаными вопросами, сегодня не тот день. Сраная сука зубодер. И притом говорят, что у него рожа, как у Николсона в том фильме про психов. Который час? Этот придурок, наверное, сейчас у себя дома дрочит перед тарелкой с говенным корнфлексом. Хочу тебе сказать про этого Николсона сраного, в его интересах полечить меня по первому классу, а не то, уж поверь, я ему кишки выпущу, сукиному сыну. Который час? Вот бардак!»

Для Патрика, особенно в моменты зубной боли, весь мир делится на две категории людей, сильно между собой разнящиеся. Первая — те, кто понимает и ценит вокальные способности коленчатого вала «Харлея — Дэвидсона». И вторая, более многочисленная, — обыватели, тупицы с пластмассовыми мозгами, которым надо «выпу-

стить кишки».

Через два часа у меня будет свидание с неким Гаэтаном Броссаром, чиновником уголовно-исполнительной системы, в обязанности которого входит расследование дел о сокращении срока тюремного заключения, перед тем как они будут переданы судье. Я уже раньше встречался с Броссаром — месяца три-четыре назад. В его внешности было что-то успокаивающее, вызывающее доверие, а скульптурно вылепленная физиономия (он напоминал Вигго Мортенсена) окончательно убеждала, что он создан для доброжелательного и справедливого контроля над решениями.

Наша первая встреча длилась недолго. Он даже не открыл папку, в которой документы и материалы суда.

«Наша сегодняшняя встреча носит абсолютно формальный характер. Рассматривайте ее просто как первую попытку наладить контакт, господин Хансен. В свете тяжких проступков, которые вы совершили, мне, к сожалению, невозможно произвести рассмотрение прошения о вашем досрочном освобождении, даже при условии постоянного контроля с нашей стороны. Давайте увидимся через несколько месяцев, и если отзывы

о вашем поведении будут благожелательными, мы сможем, вероятно, что-нибудь обсудить».

Броссар не изменился. Я заметил одну деталь, которая от меня в прошлый раз ускользнула. Гаэтану свойственно в те моменты, когда он не говорит, обнюхивать кончики пальцев. С каждым вдохом его ноздри расширялись, а затем словно успокаивались, распознав знакомые флюиды и эманации, и затем принимали привычную форму.

«Буду с вами совершенно откровенным, месье Хансен. Отзывы вы получили превосходные, и в соответствии с ними я должен передать ваше досье судье, высказавшись положительно. Однако прежде всего вы должны убедить меня, что осознали всю тяжесть вашего проступка и что теперь, в трезвом уме и твердой памяти, вы сожалеете о нем. Сожалеете ли вы о нем, месье Хансен?»

Без сомнения, мне следовало сказать то, что он ждал от меня, рассыпаться в извинениях, уверить, что испытываю страшные угрызения совести, исполнить ритуальный танец раскаяния, признаться, что все, произошедшее в тот день, для меня совершенно необъяснимо, попросить прощения у жертвы за все причиненные мной

муки и в конце всего этого действа покаянно склонить голову с выражением невыразимого стыда.

Однако ничего из этого я не сделал. Ни слова не вырвалось из моих губ, лицо мое осталось столь же бесстрастным, как железная маска, более того, я едва сдержался, чтобы не признаться Вигго Мортенсену, что искреннее всего на свете я сожалею о том, что у меня не оказалось достаточно времени или побольше сил, чтобы переломать все кости этому омерзительному, самовлюбленному и подлому типу.

«Должен признаться, я ожидал от вас совершенно другого, месье Хансен. Более соответствующей обстоятельствам реакции, так сказать. Честно могу сказать, когда я читал ваше дело, когда изучал ваш жизненный путь и ваше прошлое, для меня было очевидно, что вам здесь не место. Однако я опасаюсь, что вследствие вашего нежелания осознать свою ошибку вы будете вынуждены провести здесь еще некоторое время. Это очень прискорбно, месье Хансен. Каждый день, проведенный в этой тюрьме, является для вас уже лишним. Ждет ли вас кто-нибудь там, за ее стенами?»

Ну как ему объяснить, что в этот самый момент

никто на воле меня не ждет, но, наоборот, в той комнате, где мы с ним разговариваем, рядом со мной Вайнона, Йохан и Нук, и они терпеливо ждут, когда же этот человек уйдет. Я даже ощущаю их дыхание.

Патрик возвращается из зубоврачебного кабинета — он подтирает розовую слюну бумажным платочком и его пока еще не отпустил наркоз. Судя по всему, встреча с Николсоном плохо кончилась.

«Этот говнюк вырвал его. Знал ведь я, бля, предупреждали. Но этот хрен не оставил мне выбора. Он сказал, что не может ничего сделать, чтобы спасти мой зуб, и что вдобавок у меня огромный абсцесс. Показал мне какую-то херню на рентгене и сказал: «Вот здесь, видите, какой очаг инфекции». Не гундось, сказал я ему, делай что нужно, но предупреждаю — если ты сделаешь мне больно, ты труп. Тем количеством, которое он вкатил мне в десну, можно было усыпить целую гребаную деревню, где я родился. Сам понимаешь, хрен его знает, когда я выйду, но как только окажусь на воле, найду этого сукиного сына и выпущу ему кишки».

На эту ночь синоптики пообещали температу-

ру минус 28 градусов, по ощущениям 34, с учетом ветра. Через четыре дня уже 25 декабря. Николсон будет праздновать Рождество в окружении всей своей семьи, у всех членов которой по два ряда безупречных, белоснежных, заботливо отполированных зубов. Младшая еще ходит к ортодонту и носит брекеты, и мать пообещает ей, что это последняя зима, которую она проведет со всеми этими железками во рту. Множество шариков и забавных светящихся гирлянд будут мерцать и переливаться в его доме, как и во всех других домах города, большие магазины станут распространять рождественские открытки с историями, чтобы втюхивать кредитные карты, и в непостижимом балете все ненужные и надоевшие штуки, извлеченные из небытия лишь затем, чтобы в него вновь уйти, будут переходить из рук в руки, а в это время из всех радиоточек по случаю будет умиленно звучать *«All I Want For Christmas Is You»*.

А здесь с наступлением ночи полунищий пастырь в поношенном облачении прибежит, чтобы второпях прочитать обязательную мессу для любителей преклонять колена, и, сам в это не веря, пообещает, что каждый некогда воссядет по правую руку от Создателя, а потом поскорее скро-

ется, чтобы на клиросе с наслаждением вдыхать детский невинный запах мальчиков из хора.

Что касается нас, неверных и нечестивых, мелких жуликов и закоренелых преступников, мы получим право на дополнительную порцию бурой курицы в собственном соку в сопровождении порции просроченной тягучей жидкости на основе кленового сиропа. Принимаясь за еду, я с серьезнейшим видом пожелал Патрику счастливого Рождества. Пережевывая убиенную птицу, он ответил мне: «Отвяжись от меня с этой своей херней».

Скаген. Церковь, занесенная песком

Я родился в Тулузе 20 февраля 1955 года, примерно в 10 часов вечера, в клинике Тентюрье. Меня отнесли в палату. Там два человека, которых я никогда до этого не видел, смотрели, как я сплю. Молодая женщина, которая лежит на кровати рядом со мной, казалось, только что пришла с вечеринки; она потрясающе хороша собой, непринужденно улыбается, вид у нее оживленный и бодрый — казалось, ей нипочем тяготы родов. Это Анна Маргери, моя мать. Ей двадцать пять лет. Человек, сидящий рядом с ней, старается не слишком опираться на бортик кровати: угадывается, что он высокого роста. У него светлые волосы, голубые прозрачные глаза, на лице доброжелательное и кроткое выражение. Это мой отец, Йохан Хансен. Ему тридцать. Оба кажутся довольными исходным изделием, вовлеченным в обстоятельства, последствия которых, возможно, они себе даже не представляют. Но, во всяком случае, они уже давно выбрали мне имена. Я зовусь Поль Кристиан Фредерик Хансен.

Получилось совершенно по-датски. Но в силу крови, места рождения, всего чего хотите — и в первую очередь случая, я тем не менее становлюсь по национальности французом.

Йохан, как и его четверо братьев, появился на свет в Ютландии, в Скагене — маленьком городке с восемью тысячами обитателей, расположенном в самой северной части Дании. Люди в нем с самого рождения говорят исключительно о рыбе. Хансены, потомственные рыбаки, немало способствовали процветанию этого крохотного городка, который, казалось, цепляется за землю, чтобы его не унесло по морю к не столь отдаленным берегам соседних стран: к городу Кристиансанн в Норвегии или к Гетеборгу в Швеции. Мир стал изменять свои привычки и приоритеты, и некоторые из братьев Хансен приспособились к новым обстоятельствам, продали свои рыболовные суда и занялись производством и переработкой, но старший, Тор, по-прежнему лавировал меж подводных скал в этих опасных водах, на которые туристы обожают любоваться с вершины Гренена в те моменты, когда, в жесточайшую непогоду, просыпается старинная вражда между течениями Балтийского и Северного морей.

Йохан принадлежал к очень небольшой ча-

сти клана Хансенов, ветка называлась «Der bør I landet», что означает «Те, кто живет среди земель». Очень рано мой отец повернулся спиной к морю, предпочтя свет ученья и отправившись в единственный источник оного на всем нашем полуострове, так привлекавшем самых знаменитых художников страны, которые создали знаменитую школу Скагена. Скагенские художники жили здесь и работали, писали местные пейзажи, мужчин и женщин за работой, бурное Северное море, корабли на Балтике, ничего особенного, такого, чтобы в мгновение ока растворить двери музеев или поколебать каноны изобразительного искусства. Просто красивые картины, добросовестно сработанные, созданные для местных жителей, которым этого было вполне достаточно.

А отец, мало того что выходец из «тех, кто живет среди земель», еще и к двенадцати годам проникся религией и решил стать пастором, а это был вид спорта, совершенно не практикуемый в семье Хансенов. Гораздо позже он рассказал мне о довольно странных событиях, которые послужили причиной такого выбора. Это история о песке, о зыбучем песке, который сдвигают время и ветер.

На крайнем севере полуострова, немного в сто-

роне от города, в нескольких шагах от моря, в XIV веке была построена церковь Святого Лаврентия, покровителя моряков. В высоту она достигала 45 метров, включая сводчатый неф с колоннами и башню со ступенчатым фронтоном высотой 22 метра. Внутри были 38 рядов скамеек. В общем, это было внушительное здание, самое большое во всей Ютландии. Открытое всем штормам и ураганам, соленым брызгам и шквальным ветрам, здание очень быстро начало страдать от морской болезни — только на суше. К 1770 году песок постепенно засыпал паперть, потом неф; прожорливые дюны день за днем грызли и подтачивали инородное тело. В 1775 году страшная буря закупорила все выходы, и местные жители вынуждены были прокапывать в песке галереи, чтобы получить возможность проникнуть в храм и совершить там религиозный обряд. Они делали так раз за разом еще в течение двадцати лет, расчищая стены и двери. Но ветер все дул, дул неустанно, и песок скапливался вокруг здания. И вот однажды Бог понял, что устал бороться, и признал свое поражение: духовенство приняло решение закрыть храм, предварительно распродав все его имущество с молотка. В настоящее время здание почти полностью ушло в песок. На

поверхности среди дюн виднеется только верхняя часть колокольни длиной восемнадцать метров.

Так вот, вид этой захороненной церкви, этого обломка крушения веры, вызвал у отца желание стать пастором. «Ты понимаешь, в то время у меня не было никакой веры, я даже толком не знал, что это означает. Я ощутил просто какой-то порыв, чисто эстетический, перед этим уникальным в своем роде, потрясающим зрелищем, которое можно увидеть только раз в жизни. Словно вошел в полотно художника Скагенской школы. Если бы в этот самый день на этом самом месте я увидел занесенный песком вокзал, от которого на поверхности земли осталась бы только башенка с часами, я бы, возможно, впоследствии стал железнодорожником». Таким уж был мой отец, хоть и «bør I landet», конечно, но вечно плавающий в океане сомнений, то увлекаемый незримым парусом покинутой церкви, то восхищенный суровой и полной приключений жизнью железных дорог.

Анна Мадлен Маргери, моя мать, два раза посетила Скаген. Она познакомилась там со всем племенем Хансенов, мужчин и женщин, одинаково крепко сколоченных, способных на протяжении веков выносить все тяготы здешнего

климата. Для нее готовили камбалу с крыжовником, клюквенный компот, копченых угрей, прамдрагергид — рагу с филе, беконом и грибами, она попробовала выпить немного настойки аквавит и, конечно, совершила паломничество к захороненной церкви, где сфотографировала отца с остальными Хансенами на фоне ее еще не ушедшей в землю колокольни. На обратной дороге она рассказала отцу, какие чувства испытала при виде этого сакрального остова, торчащего из земли. «Как у тебя могло появиться желание стать священником после того, как ты увидел подобную штуку? Ведь она внушает представление о бессилии, заброшенности, убогости, о капитуляции Бога и Церкви. На твоем месте я бы присоединилась к братьям, женилась бы на местной женщине, похожей на них, и посвятила бы жизнь перемалыванию рыбы в мелкую пыль». И вроде бы, как рассказывала потом Анна, после этих слов отец поник головой, задумался и потом со своей вечной пасторской улыбкой доверительно признался: «Я во всем с тобой согласен, кроме одного пункта: насчет жениться на женщине, которая похожа на моих братьев».

Анна Маргери родилась в Тулузе. Ее родители, которых я никогда в жизни не видел, держали

маленький кинотеатр, который они скромно окрестили «Спарго», что по латыни означает «я сею», который в ту эпоху показывал все новинки артхауса и где демонстрировались только так называемые «достойные» фильмы, как, например, «Голубой Голуаз»[2], «Фотоувеличение», «Теорема» или «Забриски Пойнт». Проникнувшись с детства всеми подобными образами, воспитываясь в круговороте нескончаемых титров, исполненной особого смысла музыки, слишком страстных поцелуев, заумных рассуждений и таинственных непонятных сюжетов, моя мать стала ходячей кинематографической энциклопедией, знала все тайные уголки, все трещинки этого мира; она способна была ответить на вопрос, кто монтировал фильмы Пабста, с каким композитором работал Хоукс и кто был ассистентом по свету у Эпштейна. В целом она даже больше интересовалась различными кинопрофессиями, режиссерами, операторами, продюсерами, чем слишком банальным, слишком предсказуемым актерским мастерством.

Тогда, в апреле 1960 года, семья Хансен пред-

[2] Примечания: 2

В русском прокате фильм назывался «Легкие Голуаз», что, скорее всего, сомнительно: у этой фирмы синяя пачка у крепких, красная — у легких, а голубая — у «Голуаз» без фильтра.

ставляла собой нечто прекрасное и весьма соответствующее той эпохе. Муж, внимательный, спокойный, уравновешенный, невероятно обаятельный, говорящий на безукоризненно правильном французском с легким забавным северным акцентом, устроился на работу вторым пастором в старинный храм на улице Паргаминьер и добивался успеха как своими проповедями, так и служением. Жена, очевидно, сильно влюбленная в супруга, соединяла замечательную внешность (люди часто говорили, что она потрясающе красива) с очарованием незаурядного интеллекта; она делила свое время между воспитанием сына и прокатом шедевров кинематографа, поскольку в тот момент уже управляла кинотеатром вместе с родителями. Что касается юного Поля Кристиана Фредерика, который еще нетвердо держался на тоненьких ножках, он делал в назначенное время то, что его просили сделать, осваивал список необходимых для поведения в обществе ритуалов и каждое воскресенье сопровождал отца в храм, чтобы выслушать, как он разглагольствует о путях этого мира и его греховных слабостях.

Единственным недостатком этого семейного портрета, который, без сомнения, не обошла бы

вниманием Скагенская школа, был тот момент, что мать, абсолютно наглухо закрытая к вопросам церкви и веры, не принимающая даже саму идею греха и искупления, ни разу ни ногой не ступила на освященную землю храма. С какой стати тогда она согласилась разделить судьбу с молодым протестантским пастором? Когда, много лет спустя, я стал расспрашивать ее об этом, я всегда добивался лишь одного, загадочного для меня ответа. Она уверенно заявляла: «Твой отец так красив…»

Иногда она начинала нервничать, за столом повышала голос, и тогда отец обращался к ней с одной из своих любимых занудных мантр, на которые был так щедр: «Ну разве не могла бы ты прожить какие-то несчастные несколько часов во благе истинной веры!» Уже много времени спустя я понял, что могла испытывать Анна Мадлен. Эта невыносимая приторная доброжелательность, этот медовый, ровный, снисходительный тон… она в ответ могла ответить лишь: «Ну как ты можешь нести такую ахинею?»

Я искренне считаю, что на этой первой своей должности, пытаясь завоевать симпатии прихода и стремясь понравиться абсолютно всем без исключения, пастор Хансен, мой отец, проявлял

формализм, был донельзя банальным и фальшивым проповедником, мыслил узко и изъяснялся до жути невыразительно. Но разве кто-то на самом деле требовал от него чего-то иного?

Я могу сказать, что в эту эпоху, несмотря на все маленькие бытовые разногласия, родители были счастливы в совместной жизни. Я никогда не понимал и не понимаю до сих пор, откуда у них взялась эта природная духовная общность. Хотя я часто задавал вопросы, про которые быстро стало понятно, что они вызывают лишь смущение и неловкость, я так и не сумел узнать, ни где, ни при каких обстоятельствах они познакомились, ни какая затейливая прихоть судьбы свела в любовном порыве уроженца Скагена, выдернутого из глубины зыбучих песков, и жрицу элитного кинематографа, которые смогли преодолеть в 1953 году расстояние 2420 километров, перескочить языковой барьер и потом в полную силу наслаждаться удивительным трюком, которые они проделали с жизнью.

Пятью годами спустя, в 1958 году, смерть впервые вмешалась в дела нашей семьи. Летней теплой ночью, получив удар страшной силы, черный «Ситроен» DS 19, принадлежащий родителям Анны, разбился на одной из самых

прекрасных автомагистралей Франции, южной дороге, обсаженной величественными платанами, куполообразные кроны которых образуют естественный полог, одновременно легкий и надежный.

Бабушка и дедушка возвращались с городского фестиваля в Лозанне. В вечерней духоте, таящейся в башенках и старых стенах, они посмотрели масштабное действо, «Песнь о Роланде» в 9000 стихов, поставленную и исполненную Жаном Дешамом. «Король наш Карл, великий император, Провоевал семь лет в стране испанской»[3]. Может быть, когда они умирали, эти слова, застрявшие в памяти, звучали в их головах, эти фразы стучали в висках от мощных ударов, отражались от стенок черепной коробки, повторяясь, как на заедающем диске.

В час ночи зазвонил телефон, и волна боли и горя мгновенно заполнила квартиру. Естественно, что обо всем я помню только из рассказов родителей, потому что в моей собственной памяти не осталось ни картинки, ни характерного звука, никакого следа этих событий, потрясших нашу жизнь.

---

[3] Примечания: 3
Перевод Ю. Корнеева.

На пороге Науруз, в месте, где разделяются воды Южного канала, «Ситроен» потерял управление, слетел с дороги и врезался в платан. Машина буквально взорвалась, крыша улетела на соседнее поле, а тела моих дедушки и бабушки отбросило на другую сторону автомагистрали.

В этом месте, где воды каналов впадают в разные моря, в этом пункте водораздела разных миров, есть два огромных камня, между которыми всего каких-то несколько сантиметров. Существует легенда, что когда эти две скалы соединятся, наступит конец света.

В эту ночь они стояли на месте, сохраняя между собой прежнее расстояние, однако для семьи Маргери наступил конец света. Они были похоронены по католическому обычаю после заупокойной службы, проведенной в соборе Сент Этьен в Агде. Отец, конечно, присутствовал на службе, конечно, был торжественен и взволнован, но бдителен, и отметил про себя пышность и помпезность церемонии, хитрые уловки литургии и прочие фокусы конкурирующей фирмы.

«Спарго» потерял своих создателей, но зато получил новую руководительницу, мою мать, которая готова была все свое время отдавать работе и вписать новые славные страницы в историю

кинотеатра.

Год 1958-й был удачным для «Спарго». «Мой дядюшка», «Головокружение», «Печать зла» и «Кошка на раскаленной крыше» обеспечивали заполняемость залов неделями подряд, и зрители великодушно не обращали внимания на вытертый бархат кресел и жесткость подлокотников. Анна установила новый кинопроектор «Филипс» с ксеноновой лампой, улучшенную систему звуковоспроизведения и экран с высокой отражающей способностью. Таким образом, кинотеатр стал гораздо лучше с точки зрения технического оснащения. Пришло время позаботиться о внешнем виде.

Под натиском маленьких кинотеатров культовые учреждения отступили, им становилось все тяжелее. Мир менялся, и хотя процесс этот только начался и основные преобразования были еще впереди, отцу приходилось неустанно трудиться, постоянно переписывать свои проповеди, чтобы удержать аудиторию, которая готова была экспериментировать и открывала для себя другие развлечения, менее пристойные и более терпимые к недостаткам.

К тому моменту, когда мне исполнилось десять лет, любой сколько-нибудь внимательный че-

ловек мог уже услышать треск — это рушились основы старого мира. Мы жили возле Гаронны, на набережной Ломбард, в старой квартире со сферическими потолками. Большие окна с деревянными жалюзи открывались на реку, цвет которой менялся в зависимости от погоды и времени года.

Летом старые платаны затеняли вечернее небо и ночью до нас едва доносился шум реки. Колледж Пьер-де-Ферма находился не слишком далеко от Гаронны и от нашего дома, но, как мне казалось, слишком уж близко к храму, где служил мой отец. Меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы люди узнали, что этот здоровенный плейбой в строгом пасторском сюртуке цвета маренго, мелькающий на пороге странной церквушки на перекрестке, и есть мой отец. Для всех в колледже он был «импортером рыбной муки». Аминь.

Я признался ему в этой маленькой *лжи* и попросил не опровергать ее, если ненароком его кто-то спросит об этом. «Ты не должен стыдиться профессии отца. В этом нет ничего позорного. Наоборот. В Дании дети священников гордятся своими отцами».

С этого дня всеми делами, связанными с моим обучением, стала заниматься мать, и только она

встречалась с преподавателями, если возникали какие-то вопросы. Йохан же никогда не возвращался к этому разговору. Но как-то вечером я нашел на письменном столе записку от отца, адресованную мне. Я был еще довольно мал и, прочитав ее, испытал противоречивое чувство, какую-то неявную грусть, причину которой не смог понять. Аккуратным почерком отца было написано: «Я всего лишь маленький мальчик, который забавляется, и в то же самое время протестантский пастор, который скучает. Андре Жид».

Тридцать первого декабря в 20 часов среди двух соперничающих кланов заключенных произошла жуткая свара в коридорах нашего отсека, и нас всех было приказано запереть по камерам. В главный двор тюрьмы впустили медиков, чтобы забрать в больницу двух особенно воинственных бойцов, получивших тяжелые ножевые ранения. Даже те небольшие праздничные мероприятия, которые были намечены на предновогодний вечер, естественно, отменили.

В полночь, когда бóльшая часть заключенных уже улеглись по кроватям, вдруг откуда-то издали послышался глухой звук: кто-то долбил металлическим предметом в дверь камеры. Это был тяжелый, монотонный, мощный шум, эхом

отдающийся в пустых коридорах. И вот уже в другой камере подхватили и тоже начали стучать, а потом и в третьей. Буквально за минуту весь сектор поддержал инициативу, а потом присоединились и все остальные отделения тюрьмы. Словно огромное металлическое сердце билось, и стук его возносился в небо. Рождественский хорал про́клятых. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного. Патрик, похожий на обезумевшего дьявола, опьяненный собственной мощью, пытался пробить эту прочную преграду, твердо зная при этом, что она устоит. Он пристально смотрел на нее, улыбался ей и обрушивался на нее изо всех сил. Оттого, что он творил, от мощного гула и возбуждения вокруг у меня по спине бежали мурашки. По правде сказать, мы дружно стучали, пытаясь сокрушить очень многое в нашей жизни. Сокрушить страдания, которые выпали на долю каждого из нас. Сокрушить людское презрение, которое мы вынуждены были терпеть. Разлуку с семьями, друзьями, любимыми людьми. Равнодушие и неправедность судей, невнимательность и торопливость дантистов, вообще весь этот не поддающийся четкому определению мир, которому Патрик Хортон собирался рано или поздно «выпустить кишки». И в эту первую ночь 2010

года мы просто-напросто стали дикой ордой барабанщиков, сидящих в клетках в прожорливом брюхе этой вмерзшей в лед тюрьмы на берегу вставшей подо льдом реки.

Мало-помалу, словно чья-то невидимая рука медленно опускала регулятор уровня громкости, грохот стал стихать, пока окончательно не растворился в непроглядной ночи.

В эту ночь не было никакого общего собрания. Охранники сидели у себя, а мы были наедине с отмеренным наказанием. Вот и год прошел.

Сегодня 3 января 2010 года. Завтра будет уже четырнадцать месяцев, как я заперт в этом здании. Патрик рисует. Со спины он похож на огромного ребенка, склонившегося над своим творением, с великим тщанием пытающегося передать фрагмент нашего мира во всем многообразии форм и красок. Патрик часто садится рисовать. Наивные композиции, пейзажи, лица и, конечно же, мотоциклы, которые он старается изобразить максимально реалистично. Иногда, как школьник, он переводит на кальку какую-нибудь картинку и потом час или два подряд раскрашивает ее цветными карандашами. С одной стороны, трогательное зрелище — гигант-убийца, проявляющий свои лучшие человеческие

качества в полудетском творчестве, но при этом я вижу в нем напоминание о загадочных и страшных извивах человеческой души.

— Я тут опять думал о твоей недавней истории с психологом. Ты неправильно себя повел. — Старательно обводя контуры рисунка на листочке, Патрик инструктирует меня, как вести себя с асессором. — Это же несложно, в конце концов. Говоришь ему то, что он хочет услышать. Всякие простые, понятные вещи. Жуть как сожалею о том, что я сделал. Признаю, что перешел все возможные границы. Мое поведение непростительно. У меня были суперские родители, которые меня совсем не так воспитывали. Знаете, я думаю, тюрьма пошла мне на пользу. Я научился здесь уважению к людям и вообще мне здесь открыли глаза. Думаю, я готов выйти на волю и заняться какой-то достойной деятельностью. Мне бы очень хотелось стать водителем автобуса. Если тебе не нравится автобус, можешь заменить чем ты там хочешь. Нужно только, чтобы этот крендель успокоился, чтобы понял, что видит тебя насквозь, знает как облупленного, что ты готов к труду и обороне. Врубаешься? Нет ничего проще, просто усвой правило: ты должен его убедить, что камень за пазухой не держишь.

Кинь мне ластик, а? Бля, как начинаю говорить, захожу за край.

Если сложить все сроки, Патрик Хортон за свою еще достаточно недолгую жизнь провел за решеткой более пяти лет. Что касается меня, мне все равно, сколько я тут просижу. Два года тюрьмы за то, что я совершил, кажется мне вполне адекватным наказанием, вполне соответствующим моему проступку. Который нельзя назвать, как я считаю, ни тяжким, ни вполне невинным. Но в моем случае одно важное обстоятельство мешает воспользоваться добрым советом Хортона. Насколько легко мне было бы искренне раскаяться и осудить такое действие, если бы оно было направлено на какого-то произвольного гражданина Икс, настолько же уместным оно кажется мне по отношению к той жертве, против которой я его направил. Для асессора, не для асессора — этому человеку не будет ни прощения, ни пощады.

От болезненного абсцесса Патрика осталось одно воспоминание. Но каждый вечер, перед тем как почистить зубы, он показывает мне дыру в десне, оставшуюся после удаления.

— А вот интересно, где сейчас этот долбаный зуб. Мой все-таки зуб, как-никак. Хоть и сгнивший, но мой все же. И потом, на нем была коронка.

Этот коновал должен был мне его вернуть. Эта керамическая хрень мне в копеечку влетела. Они ведь могут ее использовать, чтобы починить другой зуб или еще чего-нибудь сделать. Что ты на это скажешь?

Я очень люблю Патрика. Но он совершенно непредсказуем и может время от времени нести какую-нибудь бессмыслицу или делать совершенно дурацкие предположения. За несколько дней до Рождества я видел, как он вел долгую серьезную беседу с одним из наших охранников (который, кстати, по всей очевидности придерживался такого же образа мыслей) про какого-то своего друга, который способен гнуть вилки на расстоянии. Он изображал эту сцену в лицах (и слушатель, казалось, верит каждому его слову) так, словно собственными глазами видел, как столовый прибор, лежащий на столе, скручивается, как спагетти.

— Это называется психокинез. Я про это изучал всякие свидетельства. Мой друг уже долгие годы этим занимается. Вообще-то он не способен перемещать предметы так, чтобы они двигались туда-сюда. Это для него невозможно. Но вот согнуть может все, что угодно. Ну не все, вещь должна быть не слишком толстая. Но вот ложка

или вилка — запросто. А отвертку, к примеру, уже не согнет. Ух, я много раз видел, как он пытается сосредоточиться на этой долбаной отвертке. Мог так глядеть час, даже два. Хоть бы что. И вдобавок он потом был весь в поту, выглядел выдохнувшимся и измученным. В итоге жена просто стала прятать от него отвертки. А я читал, что в Индии был такой же чувак, как он, так он мог усилием воли открывать дверцу холодильника и заставлять крутиться колеса велосипеда.

Со временем я как-то привык, приспособился к этим вспышкам хортоновской научной мысли, к этим непредсказуемым откровениям, которые появлялись ниоткуда и могли точно так же неожиданно затихнуть без соответствующей поддержки или наличия благодарного слушателя.

В это время года темнеть начинало в 16.30. Примерно тогда нам и подавали нечто вроде незатейливого ужина. Мы молча ели, а потом наступала сумрачная и грустная пора, когда каждый замыкался в себе. Это было худшее время дня, этот ранний вечер, когда на воле люди, наоборот, веселые и довольные, раззадоренные снежком и холодом, возвращаются по домам. В «Эксцельсиоре» в это время я обычно заканчивал все дела и шел домой, где дожидался возвращения Вайно-

ны. Потом мы, как правило, шли выгуливать Нук в парк Ахунтсик. Свободные от любого принуждения, мы испытывали ощущение, что плаваем в пространстве, что полностью и безраздельно распоряжаемся нашими жизнями, что на каждом шагу выделяем молекулы счастья, а собака тем временем закутывала свою белую шкуру в снежный кокон. Иногда я закрываю глаза и воспроизвожу в памяти эти прогулки по райскому саду, но каждая попытка заканчивается тем, что буйные и дикие голоса, доносящиеся из коридоров и соседних камер, обрушивают терпеливо возводимую хрупкую конструкцию, которую старается создать моя память. Именно тогда ты осознаешь, в какой мере пребывание в тюрьме является наказанием. Хроническая невозможность отрешиться, уйти, даже если это воображаемая прогулка в сопровождении мертвецов.

Я уже говорил, что им удавалось навещать меня здесь. Но ни разу не получилось встретиться с ними за пределами тюрьмы.

Это был час Патрика, этот обыденный ритуал, к которому я никак не могу привыкнуть. Он откидывает ткань, которая накрывает унитаз, снимает штаны и пристально смотрит на меня, одновременно при этом тужась так, что надува-

ются вены на лице. Звук падающей в глубокую воду крупной гальки знаменует конец первого облегчения.

— Я так и не выяснил, когда предстану перед судом за эту историю. Думаю вот, не сменить ли мне адвоката. Тот, который сейчас, мне не нравится. Такой стиль бойз-бенда, мокасины с кисточками. Вот клянусь тебе! Последний раз этот мудила предстал перед судьей вот в этих самых мокасинах и носочках, как у чирлидеров.

Наступившая тишина предвещает второй этап, он тужится, камушек падает, Патрик в поту, но лицо выражает расслабленность и покой.

— Уволю этого типа, я его не чувствую. Нет, такому человеку, как я, нужен крутой чувак, такой типа мафиози, который как только в зал заседаний зайдет, так судье и ясно становится, чего он стоит. Ну представляешь, такой брутальный чувак, типа Хавьера Бардема, ну или какой-нибудь похожий… Ну, к примеру, Томми Ли, не знаю… Что-то вроде. Не тот педик в шузах с кисточками.

Патрик встает, заглядывает себе за спину, удостоверяется в подходящем качестве произведенных камушков, включает механизм спуска воды, и маленькая лавина уволакивает камушки-близнецы в коммунальную бездну забвения.

Сидя на краю своей кровати, я пытаюсь думать о чем-нибудь другом, забыть об этих нарушениях внутреннего пространства, которые нам навязывают здесь и к которым Патрик, кажется, уже привык. Я пытаюсь убедить себя, что все это в конце концов кончится и что при следующей встрече мне достаточно просто ответить на несколько сложных вопросов в опросе и потом, с безмятежностью фарисея, изобразить максимально прочувствованное Confiteor[4].

А покамест я смотрю на Хортона, который вновь накрывает белой тканью унитаз. Я хотел бы к этому привыкнуть. Но у меня не получается. Хоть и времени много прошло, невозможно привыкнуть, и все тут.

В коридорах опять что-то происходит. Шум, какая-то суматоха, яростные крики, оскорбления, но потом воцаряется спокойствие. Ночное время и препараты класса бензодиазепинов постепенно начинают делать свое дело. Чрево тюрьмы принимается за неспешный процесс пищеварения, и вскоре на время недолгой ночи все живущие здесь люди сольются в коммунальную бездну забвения.

---

[4] Примечания: 4
Краткая покаянная молитва.

Пастор в сомнениях

Под влиянием, полагаю, бунтарского духа эпохи, отец купил в 1968 году странную машину, снабженную мотором нового типа с прямотаки революционной концепцией, причем в эйфорическом порыве это чудо было выбрано «автомобилем года». Двухдверный седан NSU Ro 80 (Ro и означало это самое Rotacionskolben) был семейным автомобилем, снабженным роторно-поршневым блоком Comotor — первым двигателем такого рода, выпущенным в серийном масштабе. Пастор, соблазнившись модной механической инновацией, купил эту немецкую четырехдверную машину для уютного и комфортного размещения своей семьи, хотя вполне мог бы обойтись более скромным ковчегом и менее авангардной технологией. Может быть, у Йохана в голове еще жила идея расширить круг своих потомков и способствовать более активному распространению фамилии Хансен в юго-западном регионе. Как бы там ни было, невзирая на удивительную вместимость, эта роторно-поршневая новинка оказалась полным кошмаром и

предоставила длинный список неожиданных и разнообразных поломок двигателя. Эта модель, Ro 80, предназначенная явиться символом торжества техники будущего, постепенно умерила свои претензии ввиду падения роста продаж, а некоторое время спустя привела к краху и полному исчезновению марки NSU, которая была куплена фирмой «Ауди». Во всяком случае, появление в нашей семье такой прославленной, но бестолковой машины совпало с ухудшением отношений между отцом и его женой. И при этом между пастором и его Церковью.

На протяжении всего лета 1968 года «Спарго», которому в конечном итоге подлатали фасад, существовал в живительной атмосфере бурлящей эпохи. Подобно другим социальным явлениям, замкнутый мирок кинематографа был увлечен освободительным торнадо, сметающим дух прошлого, пронесшимся по заводам, университетам и проспектам старого мира, еще скованного предрассудками. Слушая выступления Годара, призвавшего саботировать Каннский кинофестиваль и рассуждающего о различных формах классовой борьбы, моя мать, Анна Маргери, включилась в борьбу за независимый кинематограф, перекроила программу кинотеатра и открыла

двери «Спарго» всевозможным организациям и ассамблеям, организуя дебаты на разнообразные темы, общего у которых было только, что все они заканчивались глубокой ночью, потной и дымной от обилия конструктивной критики.

В предвечерние часы Анна устраивала просмотры лучших фильмов года: «Ребенок Розмари», «Вечеринка», «Космическая Одиссея 2001 года», «Украденные поцелуи», а совсем вечером на сцене появлялись Маркс, Ленин, Троцкий, Мао и Бакунин, и киносеансы переливались в бурные дискуссии между разного рода группировками, наэлектризовывавшими зал и высмеивавшими друг друга, которые заливались соловьями, стремясь показать, кто больше способствует «пробуждению сознания народных масс».

Мать брала меня с собой на некоторые из этих сборищ. В тринадцать лет я открывал для себя неизвестные территории, меня зачаровывал новый язык свободы, который я никогда и нигде прежде не слышал, этот почти иностранный язык, состоящий из нахальства и ярости, неуважения и юмора, атакующий привычную жизнь с помощью фраз, способных мертвого разбудить. Ясное дело, я почти ничего не понимал из того, что там говорилось или демонстрировалось, но

я чувствовал живое биение смысла, его изначальную частоту, что-то вроде «Король наш Карл, великий император, Провоевал семь лет в стране испанской». И эти фразы бились в моей голове подобно тому, возможно, как стучали эти стихи в головах бабушки и дедушки в тот момент, когда разлетелся на кусочки их «Ситроен».

В холле кинотеатра Анна развесила афиши с расписанием сеансов, часами и темами дебатов, а также с массой взаимоисключающих лозунгов и объявлений информативного характера. «Как изготовить коктейль Молотова: взять бутылку, на две трети наполненную бензином и на одну треть песком и мылом в порошке, и при этом погрузить пропитанную бензином тряпку в горлышко». Были там и магические фразы, необъяснимо близкие по духу, которые входили в наши души и находили там себе местечко: «Прилипни к стеклу, как насекомое». Я запомнил ее на всю жизнь. И еще другую: «Мы не хотим жить в мире, где гарантия не умереть с голоду обеспечивается необходимостью умереть от скуки». Кроме того, на этом пространстве самовыражения можно было прочесть более личностно ориентированные высказывания, дацзыбао типа «Годар — главный мудак из швейцарских прокитайских

прихвостней», которые вызывали страстные баталии — как в холле, так и на улице возле кинотеатра — между теми коммунистами, которые имели репутацию ревизионистов, и спонтанеистами-маоистами, отпрысками хороших семей. И наконец, был еще листок 21 на 29, явно самый скромный из всех, прикнопленный в левом углу самой незаметной из афиш, но именно перед ним застыл как вкопанный мой отец, когда однажды зашел за нами с мамой: «Как свободно мыслить в стенах храма».

Перед этой бумажонкой внезапно куда-то улетучился, как дым, любящий отец и заботливый муж, и вот уже разгневанный и оскорбленный служитель церкви счел себя преданным своими близкими и обреченно увез на хлипком изобретении Феликса Хайнрика Ванкеля всю безответственную компанию в квартиру на берегу реки.

Я помню все, что произошло этой ночью, помню слова, которые говорил каждый, пытаясь пошатнуть уверенность другого, помню, как они повышали голос, — и помню при этом влажный душный воздух, цитрусовый запах, доносящийся с реки, и резкий звук входной двери, когда отец захлопнул ее за собой. Помню, как человек из

Скагена вышел из дома посреди ночи, чтобы где-то на улице зарыться в песок своего гнева.

Но до этого пастор закрылся мощью Божьего гнева. На своем правильном школьном французском со скандинавским акцентом. «Ты вообще отдаешь себе отчет, что ты все еще жена пастора? Нравится тебе это или нет, но такова реальность. Хочу напомнить, что в связи с этим тебе необходима хотя бы минимальная сдержанность, элементарный такт — просто не оскорблять ведомство, в котором я работаю. Я безропотно согласился, что ты носа не показываешь в храме, большинство моих прихожан считают, что я холост. Я слова не сказал, когда ты сообщила мне, что открыла свой кинозал для проведения митингов и некоторые из них заканчиваются потасовкой, которую удается унять только с помощью полиции. Промолчал, когда в одной из статей местный журнал представил тебя как активистку движения, а твой кинотеатр — как «артистическую колыбель революционного авангарда». Но в тот день, когда я увидел выставленную напоказ среди твоих афиш листовку «Как свободно мыслить в стенах храма», я испытал стыд и унижение. Я не могу это понять, не понимаю смысл этого. И как ты можешь водить своего

тринадцатилетнего сына на эти сборища, где мятежные студенты могут говорить вслух все, что угодно, не стесняясь, где они обзывают друг друга как хотят. Что делает подросток такого возраста в подобном месте в подобное время? Это вообще нормально? Я не знаю, что тебе нужно, Анна, я уже ничего не понимаю».

Мощная, как залп русской «катюши», мамина тяжелая оборонная артиллерия вступила в бой. В принципе аргументация Анны повторяла идеи тогдашних борцов за независимость, которые всего-навсего хотели сами распоряжаться своими жизнями, освободиться от богов и хозяев, отдать власть простым людям с заводов и фабрик и еще, а почему нет, беспрепятственно наслаждаться жизнью.

В ту пору для пастора, тем паче для датчанина из Скагена, сына рыбака и потомка многих поколений рыбаков, взращенного на камбале и копченом угре, в духе уважения к традициям и толерантности, микстура явно оказалась слишком горькой и жгучей. Он не сумел заглотить ее в один присест.

Потому-то в этот вечер Йохан Хансен прекратил препирательства, оглушительно хлопнул входной дверью, взлетел по каменной лестнице,

сел в машину, издавшую характерное урчание своих роторов и поршней, и помчался прочь от семьи вдоль усаженной платанами набережной Ломбард.

Неспособный тем не менее распутать нити добра и зла, неспособный предугадать, какие нравственные ориентиры будут у нового мира, неспособный даже найти в себе хоть искорку истинной веры.

Сегодня прогулка после обеда длилась недолго. На улице было минус двадцать, и немногие из нас согласились выйти подышать воздухом во двор тюрьмы. Патрик и я были среди этой немногочисленной группы, хотя я в принципе с трудом переношу такие низкие температуры, от которых перехватывает бронхи и леденеют конечности. Зато Хортон, казалось, был сделан из специального изотермического материала, нечувствительного к суровости здешней зимы. Я видел, как даже в еще более холодную погоду он, раздетый до футболки, ложился на скамейку для бодибилдинга и выполнял упражнения, словно в погожий весенний денек. Он любит таким образом метить свою территорию альфа-самца, выставляя напоказ недюжинный физический потенциал, чтобы произвести на всех впечат-

ление и держать на расстоянии охранников и заключенных, большинство которых понимают только примитивный алфавит инстинктов и язык устрашения.

Сегодня Патрик впервые заговорил со мной о своем отце, преподавателе машиностроения в колледже общего и профессионального образования. Он ни разу не видел, чтобы этот человек ездил в отпуск или вообще отдыхал; он неустанно трудился на ниве образования, со страстью подготавливая сотни юношей и девушек к их будущей профессии, и вследствие этого, как считал Патрик, окончательно забросил жену и троих детей, которых привычно не замечал, когда возвращался домой с работы.

— Сперва, когда мы были маленькие, мы с братом и сестрой удивлялись, спрашивали себя, что же мы такого плохого сделали, чтобы он так к нам относился. Как-то раз мы даже спросили у матери. И тут она дала нам самый мудацкий ответ из всех возможных мудацких ответов: «У него много работы». Мы, конечно, сразу поняли, что мать просто не хочет с нами обо всем этом говорить. Тогда мы стали вести себя так же, как он, жили сами по себе так, словно его вовсе не было. И потом как-то раз я все-таки решил потереться возле его

колледжа, чтобы посмотреть, как отец ведет себя с другими. И вот, блядь, в перерыве между двумя занятиями я увидел его таким, каким никогда не видел дома: он вел себя как молодой пацан, со всеми разговаривал, улыбался, шутил с этими своими долбаными учениками, смотрел на этих ребят так, словно они его родные дети. И вот что самое плохое во всей этой истории: казалось ведь, что он их любит, взаправду любит и что за эту переменку он сказал им больше, чем нам за всю нашу жизнь. Я прямо плакал в тот день, вот клянусь тебе! Ничего не сказал брату и сестре. Так и жили во всей этой ненормальной хрени, и как только стало возможно, я свалил из дома. Сейчас этот мудак на пенсии. Мать по-прежнему живет с ним. Я иногда звоню ей по телефону. О нем мы не говорим, как будто он умер.

Мы с Патриком в какой-то момент присели на врытую в землю скамейку. И не сказали больше ни слова. Ледяной ветер скреб когтями лицо, пробирался между петлями вязаной шапочки. Медленно спускался вечер, и вскоре во дворе стало темно, как в могиле. Какой-то незнакомый заключенный подошел к нам и присел на другой конец скамьи. Раньше, чем он смог выдохнуть воздух, Патрик, не глядя на него, произнес:

«Свали». Тот вздрогнул, точно от удара током, подскочил и отошел от нас быстро-быстро. Лицо у него было как у человека, который увидел разверзшуюся у его ног пропасть.

Когда мы вернулись в камеру, там уже были двое охранников, которые обыскивали каждый закуток. Они рылись в наших вещах, раскидывая их во все стороны. Салфетка из туалета лежала на кровати, майки валялись возле унитаза, тюбики зубной пасты и зубные щетки были рассыпаны на полу.

— Блядь, что за бардак здесь творится, вы что здесь устраиваете, вы, сиамские близнецы!

Детальный обыск. В одной из камер нашего сектора нашли наркотики. В тот момент, когда охранники уже собирались уходить, Хортон знаком подозвал их.

— Блядь, у вас никаких шансов что-то найти, потому что я все держу здесь! — При этих словах он ухватил под штанами свой член и яйца и пошурудил ими перед носом у охранников. Ни один из сиамцев не высказал желания собственноручно убедиться в правдивости признания Хортона. Увидев, что партия выиграна, он не удержался и закрепил преимущество: — Там изрядный сверток и отличного качества!

Когда за ними закрылась дверь, мы принялись все расставлять по местам, вновь складывать одежду и чистить все, что было испачкано. Патрик яростно и громко негодовал, словно разъяренный шимпанзе в клетке, которого выкрали из привычной среды обитания и мучают злые похитители. Наконец, когда в камере была наведена чистота, он раскрыл альбом для рисования, достал карандаши и недрогнувшей рукой прочертил несколько прямых линий, несколько ломаных, потом несколько волнистых, набросал приблизительный контур и, подобно художнику Скагенской школы, молча отправился в страну цветов и красок, эту одну ему принадлежащую местность, где не существует ни отцов, ни детей, где, не имея возможности переделать мир целиком, он может хотя бы перерисовать его так, как ему заблагорассудится.

Понадобилось время, чтобы заросла трещина, которая возникла в отношениях моих родителей после мая 1968 года. В тридцать восемь лет мама с головой нырнула в мясорубку истории, а в это же время с другой стороны стекла отец довольствовался тем, что, заложив руки за спину, наблюдал, как ее там крутит и вертит.

За год, последовавший за этими события-

ми, родители постарались ликвидировать все разрушения, которые праздничный салют, переходящий в бомбардировку, произвел в их союзе. Летом 1969 года вся семья, заботливо размещенная на серых велюровых сиденьях NSU Ro 80, решила преодолеть 2420 километров, которые разделяли две планеты, принадлежавшие совершенно различным солнечным системам. Вопреки всем ожиданиям, роторно-поршневой механизм не подвел и показал себя с лучшей стороны, и все путешествие заняло не более двух дней. Анна и Йоханнес вели по очереди. Я впервые оказался в Скандинавии. С самых первых дней, подставляя лицо ветру, который медленно сглаживал силуэты дюн, купаясь в бледном свете, серебряной пленкой ложащемся на поверхность вод, наслаждаясь гостеприимством и доброжелательностью семьи, по численности способной составить маленькую армию, я не мог отделаться от странного ощущения, что наконец попал к своим. Вскоре, как и они, я начну рассуждать о сельди, стану понимать язык бури и вместе с двумя другими Хансенами возле склада семейного предприятия рассыпáть по мешкам рыбную муку, чтобы накормить других рыб.

Тут все разговаривали в полный голос, смех

грохотал, как гром, во всех углах огромной комнаты, где собирался весь клан. Было очень много еды, разложенной по маленьким тарелочкам, которая недолго держалась под натиском аппетита северных колоссов. Мы с матерью не особо понимали, о чем говорят вокруг, но крепко держали в руках стаканы и стойко сохраняли на лице продиктованную регламентом улыбку; мы были похожи на двух английских туристов на каникулах — робкие чужаки, которые хотят вписаться в общее празднество. Иногда отец подходил к нам, обнимал за плечи и представлял какому-нибудь новому Хансену, ростом еще выше предыдущего, который разражался хохотом, выслушивая историю про нас, которую рассказывал отец, — но только мы из нее не понимали ровным счетом ничего. И потом, мало-помалу, комната освобождалась от гостей, мужчин и женщин, которые оказывались во дворе. Так же как они в прежние годы собирались вокруг упряжки фризских лошадей, они окружали Ro 80. Отец поднимал капот и демонстрировал семье секреты роторно-поршневого мотора, изобретенного Ванкелем и действующего в соответствии с теоретическими принципами работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания, разработанными Бо

де Роша. Хансены с уважительным вниманием слушали объяснения отца, ничуть не смущаясь порывами ветра, посвистывающего в подворотнях. Они были похожи на собрание верующих, внимающих проповеди автомеханика, который пришел поведать им о божественно-тщательном построении идеального мира.

Я довольно рано понял, что протестантское вероисповедание — довольно непритязательный вид спорта, правила у него не слишком строгие, оно лишено такой жесткой структуры и не связано так крепко литургическими узами, как католичество. Каждый приход волен организовать свою деятельность так, как ему удобно, никакой централизации, и пасторы не обладают никакой реальной властью. Они только комментируют Священное Писание или приглашают других духовных лиц, чтобы как-то разнообразить свои еженедельные собрания. В связи с этим спустя неделю после нашего приезда Генрик Гласс, скагенский пастор, пригласил отца к микрофону в соборе, чтобы тот позвал за собой его паству туда, куда ему заблагорассудится. Отец потом рассказал нам, что сперва он говорил о танце песков, гонимых ветрами, примчавшимися с разных сторон света, и о шквальном ветре

перемен, ворвавшемся в наши жизни, несущем разнообразные новшества и искушения, которые подтачивают наши жизни и исподволь заносят невидимым песком наши церкви и нашу веру. Говорил о потрясениях, колеблющих нашу эпоху, о сомнениях и вопросах, которые они рождают в каждом из нас, присовокупил еще парочку метафор (я их уже забыл) и в заключение напомнил о своей любимой занесенной песком церкви и о долге, который сопровождает нас на протяжении всей жизни: откапывать, убирать песок, чтобы иметь возможность вот так каждое воскресенье встречаться вместе в храме нашей веры.

Речь его, кажется, весьма впечатлила местное население. На паперти они окружили отца и стали благодарить его и хвалить его замечательную проповедь. От такого радушного приема отец весь раскраснелся от счастья, ведь он привык, что тексты, которые он в поте лица писал в Тулузе, растворялись бесследно в индифферентности местных прихожан.

Мать и я и так уже наизусть знали старую песенку про пески, поэтому мы кротко пережидали, когда пыл народа поостынет и мы сможем приступить к семейному ужину за столом с дикарскими яствами.

В день отъезда, когда мы уже уселись в нашу роторно-поршневую машину, какой-то мужчина быстрым шагом подошел и наклонился к открытому окну водителя. Они с отцом обменялись несколькими фразами, и я увидел, как Йохан широко и радостно улыбнулся. Он вышел из машины и открыл капот замечательного создания немецких механиков. Далее последовала долгая беседа об абсолютных и относительных достоинствах мотора, изобретенного Ванкелем. Собеседник отца (потом выяснилось, что он намеревался купить такую же плачевную таратайку) с почти религиозным почтением слушал речи своего пастыря, а тот, не колеблясь, демонстрировал незыблемую веру в чудо новейшей инженерии. В тот момент оно вдохновляло его куда больше, чем божественные откровения.

В тот приезд я находился в опасном переходном возрасте и уже сумел заметить, что моя мать очень нравится датчанам. Куда бы мы с ней ни пошли, ее легкая походка, изысканная пластика и тонкие черты лица привлекали внимание окружающих мужчин. Не так-то просто было для подростка принять тот факт, что у него весьма сексапильная мать, и она прежде всего женщина, а потому ускользает из его детства, выскальзыва-

ет из его системы ценностей и становится кем-то незнакомым, кем-то, кого он совсем не знает, кем-то обладающим — одновременно будучи при всем при этом женой пастора — странной властью возбуждать у мужчин желание, поскольку у нее есть некая загадочная изюминка, какое-то магическое обаяние, какие-то удивительные формы, о которых мечтают парни всей земли. Ей было 39 лет, она была моей матерью, но мне предстояло заново узнать эту незнакомую мне женщину, которая теперь всегда будет жить с нами в нашем доме.

Поездка в Данию благотворно повлияла на всех в нашей семье. Отец вновь вдохнул запахи родной земли, услышал шум двух омывающих мыс морей, обрел тепло родных и близких. Мать была потрясена удивительной красотой северных пейзажей. Я же выучил несколько основных фраз на датском, таких как *Mange tak* — «Большое спасибо», *Jeg er ikke sulten laengere* — «Я уже не голоден», *Jeg har søvn* — «Мне хочется спать», *Eller er min far* — «Где мой отец» и *Er ere n smuk båd* — «Это красивый корабль». Еще я понял, что, несмотря на французское воспитание, уроки в школе и родной с детства французский язык, душой я истинный Хансен. Было во мне нечто

неопределимое родом из этого места, и оно всегда влекло меня туда. Сами теперь понимаете, почему в четырнадцать лет я вбил себе в голову, что когда придет мой час, я вернусь туда, чтобы помереть среди гигантов.

Обратная дорога во Францию абсолютно ничем не напоминала беззаботную прогулку, которую мы совершили по дороге на мыс Гренен. Первый раз машина сломалась в Орхусе. Странное шипение, легкое потряхивание — и мотор устроил себе трехчасовую сиесту. Сломалось реле управления полуавтоматической коробки скоростей. Местный автомеханик сумел-таки ее наладить и машине удалось доехать до Гамбурга, где сломался бензиновый насос. Нам пришлось остаться там на ночь. На следующий день, поменяв деталь, мы добрались до Дортмунда, где опять сломались и на буксировочном тросе заявились в местное отделение фирмы NSU. Выехать из Дортмунда нам удалось только на следующий день после обеда, причем причину аварии мы так и не выяснили. Немецкий механик изо всех сил пытался объяснить по-английски, почему отказал некий неизвестный нам элемент конструкции, который прятался, как нам показалось, где-то под магнитной системой трансформатора. Славный малый

неустанно повторял снова и снова: *rotor housing*, настырно тыча указательным пальцем в верхнюю часть мотора, но ни отец, ни мать не могли понять, что же таилось за этими нечленораздельными словами и не поддающимся расшифровке языком жестов. Истратив все аргументы, механик наконец повторил универсальное, всем понятное и к тому же почти одинаково звучащее на немецком, французском и датском слово: «Гарантия». Многократно при этом добавив: *Keine Geld, nein, Keine Geld*, что в переводе на лексически более богатый язык означало: «Вы купили говенную машину, NSU прекрасно об этом знает и потому вы можете воспользоваться гарантией и фирма возьмет ваши расходы на себя. Вам ничего не придется платить. *Nein*».

Оставшуюся тысячу километров мы проехали одним махом, как больной проглатывает горькую микстуру. Ночной Париж, автострада, Этамп, Орлеан, Шатору, Лимож, Брив, Каор — и на рассвете, в лучах розовой зари, мы медленно спустились в долину Гаронны.

Выключив мотор машины, припаркованной возле набережной Ломбард, отец провел рукой по лицу и произнес: «Какое забавное путешествие». Мать открыла окно машины и посмотрела на

реку. Странно, но, несмотря на все тяготы этого изматывающего путешествия, никто не спешил покинуть злосчастный автомобиль, чтобы вернуться к обыденной жизни, словно стараясь еще немного продлить ощущение некоего единения, которое сближало их во время этой нескончаемой дороги, когда они сменяли друг друга за рулем, стремясь завершить общее дело и вернуться к порогу нашей квартиры — притом что каждый втайне опасался, что ее дверь в какой-нибудь момент снова громко хлопнет, как тогда.

«Chatter marks», — сказал отец. *«Rotor housing»*, — улыбаясь, ответила мать. И они наконец вышли из машины.

Сегодня утром я получил письмо от моего асессора. Он спрашивал, готов ли я принять участие в семинаре по вербализации, организованном психологом, в ходе которого каждый участник поведает остальным об этапах своего «жизненного пути» и о причинах, по которым он очутился в тюрьме Бордо. Если я хорошо все понял, сеанс будет проходить по схеме «Анонимных алкоголиков». «Здравствуйте, меня зовут Джон, я здесь за применение насилия при отягчающих обстоятельствах и я никого не ударил уже восемь месяцев». Все хором: «Браво, Джон». Аплодис-

менты.

Судья вполне в курсе моих деяний. Он выслушал всех свидетелей и долго допрашивал меня самого. Он приговорил меня к двум годам лишения свободы. Все уже сказано. Если они хотят выпустить меня раньше срока, они должны сами решать и брать на себя ответственность. Я не собираюсь склевывать с их рук жалкие зернышки снисхождения и изображать раскаяние, чтобы вымолить себе лишнюю пару месяцев свободы.

Я не стану отвечать Вигго Мортенсену. Я изменил о нем мнение. Он меня разочаровал.

— Бля, когда напарываешься на подобные штуки, вот уж реально стремно делается! Библию-то ты уже читал? Ох! Говорю тебе, Библия — это вообще!

Представить себе не мог, что Патрик в один прекрасный день начнет задавать мне такие вопросы. А вот нет, я, сын пастора, никогда не читал Библию. Но у него-то откуда эта книга?

— Мама засунула мне ее в рюкзак, когда я отправился в эту дыру. Она мне сказала: «Вреда не будет». Бля, я открыл ее десять минут назад и — ты уж поверь мне — суровые ребята, эти братья, и что там им ниспосылается, ужас, у нас здесь это детский лепет на лужайке. Наши судьи просто

ангелы по сравнению с ними. Вот послушай. Перед текстом я назову имя чувака, который это написал, и число, но это совсем не его определитель номера. «Исайя 65: 12. Вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне». Не, ну крут чувак, ничего не скажешь. Жара просто, а не книжка. А вот погоди, здесь еще вот это: «Матфей 25: 30. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да услышит!» Папапапам! И вот последнее послушай: «Левит 20: 15. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. 16. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут они преданы смерти, кровь их на них». Без шуток, они все там практически обречены на смерть, эти ребята. И скотину убейте. Ну послушай, зверушка-то тут при чем, она-то чем виновата!

Библия величественно пролетела по камере, как подраненная птица, и рухнула у источенной селитрой стены, из-за которой доносилось царапанье грызунов.

Посреди ночи Патрик Хортон так мощно и душераздирающе заорал, что я мигом соскочил с кровати, а в камеру галопом прибежали двое охранников, сиамцы, вооруженные электрошокерами и дубинками, готовые положить конец тому, что они сочли агрессией с применением насилия.

— Я видел ее, она была тут, она сидела у меня на животе и смотрела на меня. Не знаю, была ли это очень большая мышь или небольшая крыса, но эта тварь по мне ходила! Я видел ее, начальник, видел своими глазами. Мне надо сменить камеру, я не могу здесь больше оставаться. Я не переношу грызунов, правда, я от этого болею. Вы должны что-то сделать, бля, позовите директора, кого хотите позовите, но сделайте что-нибудь!

Ошеломленные этим зрелищем охранники застыли на месте: на их глазах развеялся миф, пал непобедимый герой. Немного оправившись, они стали уверять Патрика, что не имеют права будить директора из-за какой-то мышки. Тюрьма — это огромный крысиный заповедник, где с незапамятных времен гнездятся всевозможные вредные животные. Это все знают. Ну и вот, они, конечно, все понимают, но будить начальство из-за этого не станут.

Библия была отомщена. Сиамские близнецы терпеливо и подробно объясняли ситуацию Патрику, опасному преступнику, убийце «Ангелов Ада». В два часа ночи они разговаривали с ним с той же кротостью, с той же сдержанной эмпатией, с какой матери успокаивают младенцев, которым ночью приснился кошмар.

— Я так не могу. Мне насрать на ваши объяснения, я так больше не могу, и все. Заберите меня отсюда. Если у вас нет другой камеры, отправьте меня в санчасть, в изолятор. Я не просто языком чешу, у меня крыша съедет, предупреждаю. Крыс не выношу вообще. Ну ведите же меня в медсанчасть!

В это невозможно поверить, но охранники по радио связались с охранником санитарной части. Один сделал Хортону знак собираться. Он, точно ребенок, которому отменили ужасное наказание, в мгновение ока натянул свитер и штаны и, даже не посмотрев на Исайю, Матфея и меня, выскользнул из камеры так быстро, словно смерть гналась за ним по пятам.

Глубина глоток

Я довольно быстро понял, что мой отец никогда не станет настоящим французом, одним из тех типов, которые убеждены, что Англия всегда была гиблым местом, а весь остальной мир — глубокая провинция, в которой живут одни невежды.

Его неумение приспособиться к жизни в этой стране, понять ее до конца, полностью воспринять ее обычаи и узусы раздражало мать до такой степени, что их разговоры на эту тему часто переходили в обсуждение других болевых точек. Несмотря на то что он провел во Франции уже шестнадцать лет, Йохан Хансен оставался датчанином до мозга костей, едоком смерребреда, скандинавом, северянином, безоговорочно верным данному слову, привыкшим смотреть людям в глаза, абсолютно лишенным той уютной диалектики, что очень популярна во Франции, настроенной на отрицание очевидного и свободу от любых обязательств.

В новой стране, принявшей его, он ценил прежде всего язык, который употреблял с огромным уважением и чрезвычайным грамматическим

тщанием. Что до остального, ему явно трудно было найти здесь жизнь, которая была бы ему под стать. Он часто говорил, что из всех наций, которые ему известны, французам труднее всего приложить к себе те моральные и общественные ценности и добродетели, которые они требуют от других. Особенно это касается равенства и братства. «Со всеми этими вашими букетами привилегий, ваши президенты и всякие мелкие маркизы больше похожи на королей, чем наша несчастная королева Маргрет II». Он любил повторять это за столом, пытаясь уязвить мою мать. Помимо этого ему трудно было принять такие качества, как лицемерие, склонность ко лжи и нечестность, которые, как и вообще всех французских политических деятелей, он мог обсуждать только в связи с коррупцией и склонностью к недостойным компромиссам с совестью.

Анна быстро пресекала этот поток упреков. «Ну в таком случае зачем ты здесь живешь? Ты волен вернуться в родные места». Отец никогда ничего не отвечал, но у нас в ушах звучал его спокойный тембр: «Здесь мой сын, и еще я тебя люблю».

Хотя я был рожден и воспитан во Франции, я часто разделял негативные ощущения и мнение отца о нашей стране. Я прекрасно понимал, что

человеку его масштаба, воспитанному в суровых испытаниях и морских бурях, в пацифистском и интернационалистском духе, тесно в шестиугольном французском кафтанчике, куда его все время пытаются запихнуть.

И потом, правда, здесь его сын и к тому же, хотя это становится все более и более сложным, он все еще любит жену.

Ситуация в «Спарго» несколько успокоилась, вошла в привычный ритм: спад-подъем, время от времени какой-нибудь особенно успешный фильм. В 1970 году вышли «Красный круг», «Тристана», «Большой маленький человек», «Мясник», «Военно-полевой госпиталь», «Признание» — этот год для матери оказался на редкость удачным. В прокат поступило множество шедевров, которые отлично вписывались в наш артхаусный формат, который пока еще считался хорошим тоном в обществе. В лицее я быстро стал популярным благодаря маминой деятельности, молодежь той эпохи переживала кинематографическую лихорадку необыкновенной силы.

Сам я пересмотрел все эти фильмы, один за другим. Иногда так получалось — чаще всего утром, в исключительных случаях, когда выходил какой-нибудь особенно талантливый фильм, — что

мать организовывала «семейные» сеансы. Тогда мы одни имели в своем распоряжении весь зал. Сидя рядком, отец, мать и я, мы смотрели полнометражный фильм на большом экране. Я переживал совершенно незабываемые моменты, и пока киномеханик сменял одну за одной бобины пленки из триацетата целлюлозы, проецируя изображение на экран, мы в огромном зале наслаждались всеми преимуществами дружной и счастливой семьи.

Отец крайне редко рассказывал нам о храме и о том, что он там делает. В отличие от своих датских выразительных проповедей, вызывавших пылкую реакцию прихожан, здесь он, казалось, осуществляет необходимый минимум деятельности в обстановке любезной индифферентности. Он по-прежнему тщательно готовился, расписывая на бумаге проповеди, но не было в нем больше страсти, он словно выдохся. Мать по-прежнему не появлялась в соборе, и я тоже уже давно не ходил туда слушать его благоглупости, которые, подобно таким же историям его собратьев и конкурентов, бесконечно, из века в век, прокручивались на божественном фонографе.

Иногда по вечерам, ожидая мать с работы, Йохан наливал себе стакан чего-нибудь алкоголь-

ного и садился у большого окна, выходящего на реку. Летом, когда шел дождь, он открывал его настежь, слушал шум ливня и вдыхал запах жизни, поднимающийся с мокрого тротуара. Казалось бы, от такого священнослужителя, романтичного, печального, слегка разочарованного, следовала ожидать, что он будет приправлять эти одинокие вечера Генделем или Бахом. На самом деле в эти моменты грусти и тоски отец слушал записи, которые словно высыпались из шкафа в произвольном порядке: Ли Кониц, Эмерсон, Лайк и Палмер, Стэн Гетц, Кертис Мейфилд и «Лед Зеппелин» звучали из колонок нашей системы хай-фай, выбранной лично моей матерью. В ту эпоху, когда мои родители были молоды, звук играл куда большую роль, чем в наше время. Людей тогда охватил странный перфекционизм, стремление к совершенству, когда они практически молились на виниловый звук, шуршания и трески, шарканье пальца по струне и алмазные иглы. Для пастора эта музыка, без сомнения, слетала напрямую с небес посредством высокочастотных динамиков и акустических систем, изобретенных Джеймсом Буллоу Лэнсингом и произведенных компанией JBL, носящей его имя и базирующейся в Нортридже, штат Калифорния.

Если бы Йохан был еще на этом свете и оказался в курсе всех злоключений моей неяркой жизни, он по крайней мере наверняка был бы удовлетворен, зачитав эту совершенно бесполезную, но исключительно точную речь о происхождении наших громкоговорителей. «Мир сейчас стал слишком сложным, чтобы довольствоваться приблизительными определениями, расплывчатыми объяснениями или смутными понятиями. Я считаю, что в наше время более чем когда-либо нужно стремиться к точности, правильности, верности в деталях. Раньше ты мог заполучить душу человека с помощью богоугодной картинки, и ему за это ничего не нужно было, кроме благословения. Сегодня, чтобы добиться того, за чем я пришел, нужно сопровождать этого брата по жизни, отвечать на его вопросы, развеивать его тревоги и окаймлять его доброжелательным спокойным поведением, подобно тому, как ведущий семинара “Анонимных алкоголиков” отслеживает своих пациентов».

Так говорил мой отец. Когда он приканчивал первый или второй бокал, сидя у открытого окна и слушая дождь, ему иногда приходила в голову мысль вовлечь меня в обсуждение своих чудачеств, он называл это «часы, потраченные на то,

чтобы утвердиться в вере». Однажды вечером, когда мать где-то довольно надолго задержалась, он, возможно, довершая уже третий бокал, под шум бьющегося о стекло дождя, внезапно решил отказаться от своих завоеваний и разрушить стенку, на которую опирался долгие годы. «Я утратил веру в Бога. С некоторых пор ни одного дня не провел в вере. Даже нескольких часов не наберется. И дальше уже речи нет об укреплении в вере, вообще нет. Когда мы в последний раз ездили в Скаген, я долго говорил с тамошним пастором обо всем об этом. В какой-то момент он мне сказал: “Но Йохан, у меня ведь тоже ничего нет, совсем ничего, кроме этой бутылки виски, которую я заменяю на полную, когда жидкость в ней кончается. Вера — вещь очень хрупкая, она зиждется на троекратной пустоте, это все магические фокусы. А что нужно, чтобы быть хорошим фокусником? Кролик и шляпа”. Вот все точно так, сынок. И ничего больше. Твоя мать и ты, вы совершенно правы, что никогда ко мне туда не ходите и вообще этим не интересуетесь. Я вам завидую. Сам я, чтобы заработать на жизнь, вынужден по-прежнему подниматься на сцену и выполнять один и тот же старый трюк, единственный, который я выучил за всю свою жизнь.

И нет у меня ни женщины, которую можно распилить, ни кролика, ни шляпы».

В этот вечер отец приготовил нам на ужин запеканку с баклажанами. Она ожидала нас в теплой духовке. Мама пришла, аккуратно прикрыв дверь, чтобы она не хлопнула. Йохан уже спал.

Рано утром, как ни в чем не бывало, словно ночью ничего и не случилось, Патрик Хортон на цыпочках вернулся в нашу камеру. Позже, когда мы пришли с завтрака, в дверь просунул голову охранник. «Я поговорил с шефом об этой твоей истории. Все улажено. Через час придет дератизатор». И действительно, где-то в полдень в нашу обитель явился служащий, который принес с собой длинный мастерок, металлическую крошку и штукатурку для приготовления быстросхватывающегося состава. Чтобы создать свою смесь, он развел порошок в небольшом количестве воды, высыпал туда же металлическую крошку и принялся замазывать все трещины, змеящиеся по стенам нашей камеры. Пока он работал, Хортон ходил за ним, как угодливая тень, каждую минуту проверяя качество изоляции.

— Вы уверены, что в составе достаточное количество металла? А у кусочков острые края? Надо, чтобы они сразу резали лапы, иначе все

бесполезно. А сколько времени нужно, чтобы это начало действовать? Двадцать четыре часа? Бля, а нельзя как-нибудь сделать побыстрее?

Дератизатор провел в нашей комнате час, вроде все промазал и позатыкал. Ему пришлось сходить и принести еще мешок штукатурки и еще мешок металлической крошки. Когда он закончил, он помыл руки в нашей раковине, посмотрел на безупречно чистую салфетку на унитазе, потом внимательно посмотрел на нас с Патриком.

— А кто из вас так боится мышей, интересно?

Хортон, помолчав, признался, что это он. Служащий, улыбаясь, собрал свой инвентарь.

— О бля, я нисколько не сомневался!

Январь месяц в Монреале один из самых холодных в году. На этой неделе температура достигла минус 32 градусов. В наших камерах, несмотря на отопление, было не больше 14 градусов. Нам раздали дополнительные одеяла. Они были из акрила, и у них был странный запах, который напоминал запах некоторых резиновых игрушек китайского происхождения, произведенных из старых автомобильных покрышек путем переработки. Ночью мы спали в одежде. Днем натягивали на себя два-три свитера, чтобы не было так холодно.

Крысы тоже вымерзли в подземных переходах тюрьмы, да еще их лишили обычных выходов — вот они и не стали наносить нам повторный визит. Настроение Хортона заметно улучшилось. Он вновь обрел всю свою самоуверенность и желание выпустить кишки доброй половине человечества.

— Знаю я одного из тех типов, которые сегодня появились. Жулик тот еще. В Монреале лучшего не найти, если надо скупить краденое. Прям в тот же день все сделает. Я сказал, ты запомнил, да? Но когда ты врубишься, что ему от тебя за это надо, ты поймешь, что парень явно не работает на Армию спасения. И к тому же этот говнюк постоянно носит с собой перо, ну ты понимаешь. Думаю, он за сутки здесь уже заточку сделает. С ним все ясно, у меня сомнений нет, что он плохо кончит. В один прекрасный день сам нарвется на нож, и его разрежут на кусочки. Как они там в Библии говорят, кто поднял заточку, от нее и помрет. — С этими словами лучший из известных мне толкователей Священного Писания заворачивался в одеяла, детально перед тем проверив, что все трещины в стенах по-прежнему тщательно заделаны магическим металлическим составом и вредные грызуны не имеют возмож-

ности пробраться в камеру.

Невзирая на холод в помещениях, кормили нас все так же плохо. Сегодня нас потчевали бурой курицей с зеленым горошком, который в микроволновой печи разморозили лишь наполовину. Иногда в такие моменты гастрономического угнетения — ведь в тюрьме прием пищи является одним из важнейших моментов в течение дня — я думал даже не о еде, которую готовила мать, поскольку она не любила заниматься кулинарией и покупала готовые блюда, а о тех потрясающе вкусных обедах и ужинах, которые в Скагене стряпал мой дед Свен; они подавались с брусничным соусом, пробуждающим во рту незабываемые кисло-сладко-соленые ощущения.

В этот вечер было так холодно, что мне не удавалось заснуть. Я слушал, как шумит вода в канализации, как кашляют люди. Иногда долгие спазматические приступы доносились с других этажей. Эти звуки, искаженные и приглушенные расстоянием, напоминали крики и стоны диких зверей.

Приходил отец. Мы болтали с ним о том о сем, он быстро перевел разговор на свою машину Ro 80. Он интересовался, в частности, что стало с этой машиной, когда он уехал из Тулузы в конце

1975 года. Я знал ответ, но предпочел держать его при себе. Я знал, что отцу это будет неприятно и больно. Потом к нам присоединились Вайнона и Нук. Это был прекрасный момент мира и покоя. Мы сидели вместе, живые и мертвые, прижавшись друг к другу, и каждый старался дать другому то, в чем он больше всего нуждался, чего ему так сильно недоставало: немного тепла и сочувствия.

У заключения ужасный запах. Повсюду распространяются затхлая вонь дурных, порочных мыслей, тлетворный выхлоп коварных идей и злобных намерений, тухлый душок сожалений о прошлом. Свежий воздух свободы сюда не попадает по определению. Мы вдыхаем углекислый газ от нашего дыхания, от общего дыхания с отрыжкой от бурой курицы и мутных замыслов. Даже одежда и постельное белье в конце концов пропитываются этими испарениями, и к этому невозможно привыкнуть. При возвращении с прогулки, когда воздух с улицы останавливается перед турникетом, переход делается от раза к разу все более трудным, и появляется смутная тошнота, напоминающая нам, что мы живем и дышим в поглотившем нас чреве, которое нас непрерывно и неуклонно переваривает и кото-

рое в некоторый момент исторгнет нас скорее для того, чтобы самому от нас освободиться, чем чтобы нас освободить.

Получение в восемнадцать лет степени бакалавра прошло не без трудностей. Я вылез только потому, что меня вытягивали, притом что многих других потопили. В отличие от свободомыслия 68 года, когда каждый получал свой диплом, просто представив сделанный дома доклад, Тулузская академия за последние годы очень повысила требования и стандарты получения сертификата. Мои хорошие результаты в области физкультуры, географии и некоторых других подобных предметов плюс умение выпутываться из затруднительных ситуаций позволили мне представить мой последний ausweis по успеваемости пастору Хансену и услышать от него с некоторой торжественностью произнесенное на языке Ханса Кристиана Андерсена «Min søn, jeg er stolt af dig», что можно перевести как «Сын мой, я горжусь тобой».

По правде сказать, я никогда толком не знал, не вызывает ли вид эдакого метиса-полублондина, каким я выглядел в его глазах, у отца сожаление о том, что он не женился на настоящей уроженке Скагена, которая бы думала по-датски, любила

по-датски, ела по-датски, плавала по-датски, трахалась по-датски и произвела в результате этого мощного датского младенца, и все гордились бы его силой и красотой, но который при этом, едва открыв глаза, прошептал бы своим восхищенным близким: «Smigger er som en skygge: det gor du, eller større, eller mindre». Это означало бы: «Лесть, она как тень: она не делает вас ни выше, ни ниже».

Я прекрасно понял, что Йохан, пастор, без веры несущий Закон Божий, мечтает иногда, глядя на ливень за окном, об этом маленьком безупречном отпрыске, которого у него никогда не было.

Университет принял меня как очередного непредусмотренного эмигранта, и, обучаясь на географическом факультете, я выяснил, что Дания имеет территорию в 42 924 квадратных километра, является поэтому самым маленьким государством в Скандинавии, если не учитывать тот факт, что в ее состав входят Гренландия и Фарерские острова, и общая территория этого мастодонта — 2 210 579.

Я люблю географию, связанную с путешествиями, с пешими походами, наблюдениями с высоты человеческого роста, учитывающую сложность рельефа, капризы погоды и простую человеческую усталость. Гораздо меньше мне нравятся

таблицы и схемы, тетради, разлинованные графами и датами. Мое пребывание в университетском кампусе, таким образом, состояло из беспорядочного хождения туда-сюда, периодической проверки моих весьма сомнительных знаний, списываний на семинарах и долгих часов в нашем кинотеатре. По вечерам я возвращался домой усталый, но довольный.

Дома все дела шли своим чередом, постепенно подтачивая терпение матери и любовь отца. В квартире на набережной Ломбард царила тягостная атмосфера, взаимное равнодушие словно покрывало все слоем серой пыли. Пастор по-прежнему готовил ужин, мать по-прежнему приходила поздно. Они часто стали ужинать по отдельности, каждый в удобное для него время.

Анна вела бухгалтерию кинотеатра, держала нос по ветру и без лишних сомнений пользовалась благами этого мира, если они сами шли ей в руки. Йохан же пытался сохранить свой статус, писать в тишине проповеди, пытаясь создать видимость иллюзии Слова Божьего, импровизируя свои религиозные фокусы с помощью того, что оказывалось под рукой, но у него по-прежнему не было ни более или менее путной шляпы, ни даже самого маленького кролика.

В 1975 году, когда мне исполнилось двадцать лет, произошел конец света в одной отдельно взятой семье, а именно семье Хансенов. Люди Севера и люди Юга, которые проделали столько километров и стольким важным и личным пожертвовали, чтобы соединиться, которые выучили незнакомые языки и купили немыслимые автомобили, которые занимались любовью каким-то непонятным образом, один закрывая глаза, другая нет, которые родили ребенка, не слишком понимая, для кого и зачем, из которых один защищал интересы Бога, а другая составляла программу в интересах дьявола, и оба, как было обещано, расчищали наносы воображаемого песка перед дверью своей квартиры, которые прошли вместе огонь, воду и медные трубы — в конце концов распались и расстались, их союз разорвался и развалился.

Двадцать четвертого апреля 1975 года незадолго до полудня несчастная жертва непритязательной моды, морально устаревшая и ставшая при этом жертвой резких колебаний цен на нефть, последняя машина DS сошла с конвейера завода «Ситроен» на улице Жавель. Это была ее экономическая смерть, церемония сродни панихиде, вызывающая слезы на глазах. На погребении

присутствовали официальные лица, представляющие фирму, государственные чиновники, представители прессы и, без всякого сомнения, мои бабушка с дедушкой, которые стояли где-то в углу цеха, где производили этот автомобиль, а до этого — огромные количества ядовитого гипохлорита натрия, так называемой жавелевой воды, или же хлорки, применяющейся для отбеливания. Усопшие Маргери наверняка пожелали присутствовать на этой церемонии, чтобы лично убедиться в исчезновении того, что они воспринимали как вереницу человекоубийц. Они не забыли про автокатастрофу в Наурузе и ничего, ничего не простили.

Позже, когда я думал над историей самоликвидации семейства Хансен и никак не мог придумать этому аналогий, мне всегда на ум приходил крах компании «Ситроен». Продажа их товарного знака. Их исход с набережной Жавель.

И тем не менее одним из виновников того, что семья Хансен уехала с улицы Ломбард и перестала фигурировать в телефонных справочниках, отчасти является некий Джерард Дамиано. Этот уроженец Бронкса, убежденный католик, бывший сотрудник кабинета рентгенографии, ставший потом парикмахером в родном районе,

собрал с помощью местных воротил организованной преступности 25 тысяч долларов и принял решение снять второй настоящий порнографический фильм в истории профессионального американского кинематографа. Примитивный сценарий и минимальные диалоги, сюжет, базирующийся исключительно на оральных и ларингофарингиальных способностях главной героини, Линды Лавлейс, фигурирующей в окружении актеров-любителей, готовых преданно отдаться ради высокой цели. Прокат фильма, осуществленный командой, которая помещалась в малолитражку, прошел буквально за шесть дней в Майами, в разгар чудесной и гостеприимной флоридской зимы. Переехав в Нью-Йорк весной 1972 года, один из актеров фильма, Гэрри Римс, который до этого играл только в пьесах Шекспира и который в «Глубокой глотке» участвовал не только как исполнитель роли, но и как мастер по свету, подвергся преследованию полиции по обвинению в «преступном сговоре с целью распространения непристойных материалов через границы штатов». Картина была запрещена в двадцати семи штатах, квалифицирована как «совершенно непристойная» в штате Нью-Йорк. Она вызвала бурю скандалов, осуждение кри-

тики, вопли оскорбленной добродетели. Но все доступные залы, где просмотр был разрешен, ломились от зрителей. За всю свою историю «Глубокая глотка» принесла больше 600 миллионов долларов. Но следует заметить вот что: и Дамиано, режиссер-парикмахер, и все его актеры-любители, хотя и работали по шесть дней в неделю, получали жалкие крупинки от всех этих золотых гор. Бóльшая часть выручки изымалась с удручающей регулярностью прямо из касс кинотеатра отрядом инкассаторов-любителей, нанятых мафией, чтобы обчистить парикмахера и его актеров.

Джерард Дамиано тем не менее на следующий год вновь взялся за старое и отправил в прокат фильм «Дьявол в мисс Джонс», который принес 7,7 миллиона выручки и имел в 1973 году невероятную популярность. За тридцать два года кинематографической карьеры этот удивительный персонаж снял 48 фильмов с редкостно выразительными названиями (как, например, *«Splendor in the ass»),* которые не оставляют никаких сомнений о стиле, характере съемок и содержании сценария.

Если я не путаюсь в деталях, именно по причине рогаток и препон цензуры «Глубокая глотка»

появилась во Франции только 27 августа 1975 года. И во время этого долгого периода ожидания между реформаторской церковью и артхаусным кинематографом велись ожесточенные дебаты.

Три года прошло с момента появления фильма на экранах Америки. Три года, во время которых отоларингологи и кинокритики исследовали особенности строения гортани и заднего нёба героини, биографию режиссера, его лабильный католицизм и его выручку, которая исчезала, как кролик, в сицилийских шляпах. Все эти истории приносили с собой многочисленные сомнительные выходцы из заокеанских краев, так что когда «Глубокая глотка» появилась на наших экранах, у многих было ощущение, что они ее уже смотрели.

Двадцать седьмое августа 1975 года стало для меня незабываемой датой — в этот роковой день обрушилась жизнь нашей семьи, вышло на поверхность все, что я смутно предчувствовал.

В июне министр культуры Мишель Гюи снял запрет с ввоза этой ленты во Францию.

Мать, представляя независимый кинотеатр, отправила запрос компании «Альфа Франс», дабы получить право показать этот феноменальный фильм в «Спарго». Когда это известие донеслось

до набережной Ломбард, отец пришел в ярость. Он проявил себя мелкобуржуазным боязливым консерватором, но при этом совершенно не стеснялся в выражениях: «Ты что думаешь, меня колышет вся эта твоя дурацкая история, все эти твои глупейшие клиторы и те придурки, которые их насасывают на протяжении целого часа? Ты думаешь, меня именно это шокирует? Ты и правда так думаешь? Нет, Анна, меня трясет от другого: что ты, жена пастора древнего храма, ни одной секунды не подумала о том, какие последствия могут иметь для меня и моей работы твои хреновы кинематографические вкусы. Если ты будешь крутить этот фильм в своем кинотеатре, мне конец, я больше не посмею появиться в храме. Обычные люди, пресса, мои прихожане — все, несомненно, сумеют найти связь между той, из-за которой разразился скандал, и тем, кто по воскресеньям расхваливает им достоинства Коринфян: “Но тело не для блуда, а для Господа, и Господь для тела”. Ты вообще отдаешь себе отчет, в какое дерьмо ты вляпалась? И даже не посоветовавшись со мной, не спросив моего мнения. Я узнаю обо всем, сняв трубку телефона. Звонит тип из какой-то “Альфы Франс” и спрашивает: “А мадам Хансен дома? Вы месье Хансен? Тогда у меня для

вас хорошие новости. Дали добро на “Глубокую глотку”. Вы можете взять в прокат фильм, как только он выйдет. Вам позвонят и сообщат о датах, когда пришлют бобины. Предупреждаю, это совсем не в вашем обычном стиле, это изменит ваш подход к программе кинотеатра”. Если ты покажешь этот фильм, Анна, это изменит всю мою жизнь и всю нашу совместную жизнь».

Анна резко встала, схватила тарелку и стукнула ей об стол. «Да ты просто жалкий провинциальный пастор, серый ограниченный протестант, ретроград и консерватор. Ты не способен увидеть, что мир меняется. Ничего не видишь, ничего не понимаешь, а судишь да рядишь с этой своей Библией, которой ты потрясаешь, словно Уголовным кодексом. Ты все еще живешь в XIX веке, во всех этих историях про рыбную муку и засыпанный песками полуостров. Ты достал меня, Йохан Хансен. Весь мир вокруг увидит этот фильм, который, без сомнения, совершеннейшее дерьмо, но который является важным поворотным моментом в кинематографе, а это моя профессия. Я не знаю, во что это выльется, но это, несомненно, событие. И вот что я тебе хочу сказать: я не собираюсь отказываться от участия в этом деле только для того, чтобы унять профессиональные опасения мужа,

которого не устраивает работа жены. Я показываю фильмы, понимаешь, это дело моей жизни. Когда я беру в прокат Бергмана или Тарковского, это метафизика, мистицизм, духовность. Когда достается Дамиано — приходится показывать члены, члены и клиторы. И я очень разочарована, если такая маленькая штучка в глубине горла способна привести тебя в такое состояние».

Высказавшись, Анна вышла из комнаты и ушла из квартиры, громко хлопнув входной дверью.

В этот вечер я понял, что мы с отцом были в некотором роде тем последним автомобилем «Ситроен», сошедшим с конвейера, и вокруг нас, позади и впереди, разверзлась пропасть одиночества и непонимания. Во время этого семейного конфликта, притом что, очевидно, я разделял либеральные, прогрессивные и современные взгляды матери, я немедленно встал на сторону Йохана. Отчасти из какой-то необъяснимой, тайной датской солидарности, но еще и оттого, что от вида моего отца, потерянного, несчастного, утратившего веру, забывшего все свои магические фокусы, лишенного даже родного языка, тоскливо глядевшего в окно на струи ливня в ожидании матери, у меня внутри все переворачивалось. Его жизнь происходила как бы в противофазе с

теми фильмами, которые я смотрел, и с миром, который нас окружал. Как двигатель Ванкеля в его странном автомобиле, он крутился вхолостую, не двигаясь с места, не запуская процесс тяги, необходимый, чтобы выбраться из колеи, свернуть с проторенной дороги.

И вот что должно было случиться — случилось. Специальная бесплатная рекламная публикация в журнале с программой киносеансов и в киноафише отметила «Спарго» в числе кинотеатров, где будет демонстрироваться «Глубокая глотка». В предвкушении даты первого показа в газетах не утихала полемика, некоторые защитники добродетели яро выступали против такого противного природе использования человеческой полости рта. В протестантской общине, где в конце концов все сумели установить связь между неистовой защитницей пещеры порока и пастором Хансеном, руководству все труднее было найти подходящий ответ на настойчивые вопросы наименее прогрессивной части паствы.

Двадцать второго августа 1975 года — это была пятница — отца призвали на пресвитерский совет, где ему объяснили, что вследствие достаточно щекотливой ситуации, из-за которой все могут оказаться в неудобном положении, решено

в качестве меры предосторожности приостановить его деятельность на посту пастора данной церкви, и решение это вступит в силу незамедлительно.

Придя домой, я обнаружил там безмолвного, впавшего в ступор человека.

В воскресенье, 24 августа, Йохан остался дома. Он вышел прогуляться по набережным вдоль Гаронны, потом несколько раз позвонил кому-то по телефону, причем с одним собеседником говорил по-английски. Он не звонил никому в Данию, несомненно, оберегая родственников от всего этого ажиотажа и не желая вынужденно винить мать, чтобы оправдать свое увольнение. Уже с той самой пятницы, как только вышел с заседания совета, отец понял, что отстранили его окончательно и бесповоротно и что в этот храм он уже не вернется. Да и как бы он мог оправдать свое возвращение и последующую работу на этом посту, если прогрессизм Анны натолкнет ее на идею показать в следующем году, скажем, «Дьявол в мисс Джонс» или «Великолепие в заднице»?

Двадцать пятого августа кинотеатр собрал, естественно, полный зал, как и в последующие дни и недели, будни и выходные. Конечно же,

фильм при этом был никакой и ни о чем, и один местный критик, посмотрев его, назвал «лентой для жадных вуайеристов».

Отец редко выходил куда-то за пределы набережной Ломбард. Он, казалось, смирился со своим поражением. Я заметил, что он часто разговаривает по телефону, причем иногда говорит по-французски, а иногда — по-английски. С матерью он прекратил всякие дебаты и заговаривал с ней только по поводу каких-нибудь домашних мелких дел и бытовых проблем, которыми пытался заполнить свои дни. Больше ни слова не было сказано ни о Дамиано, ни о Линде Лавлейс. Мало-помалу шумиха спала. Анна, ненадолго присмиревшая после неожиданной грубой отповеди мужа, вновь обрела присущие ей самоуверенность и спесь и весело купалась в лучах успеха, с удовольствием пересчитывая при этом немалую выручку, за которой при этом не намерен был являться никакой мафиозный инкассатор.

В середине сентября за ужином, в то время как за окном бушевала непогода, сотрясая стекла, раздался мощный и ровный голос отца, легко перекрывающий раскаты грома. «Так вот, я собираюсь сказать вам только две вещи: во-первых,

неделю назад меня снова вызвали на пресвитерский совет, дабы подтвердить, что не собираются восстанавливать в прежней должности, не вдаваясь в объяснения, почему я окончательно уволен. Вторая новость — я нашел себе новую работу. Я стану основным пастором Методистской церкви в Тетфорд-Майнс. Это маленький городок в Канаде, в провинции Квебек. Я вступлю в свои новые обязанности 1 ноября. А уеду туда, чтобы обустроиться, в середине октября. С этого момента я хочу постараться стереть (и административно это оформить, так как я знаю, что вы, французы, очень охочи до этого вида спорта) все следы моего пребывания в этом городе и в этой семье. Естественно, что наш развод, Анна, является неотъемлемой частью процесса. Я оставляю за тобой право выбрать формулировку и условия и надеюсь подписать до моего отъезда все документы, которые тебе понадобятся. Думаю, не нужно лишний раз напоминать вам, что вы оба всегда будете желанными гостями в этом крохотном городке, о котором я ровным счетом ничего не знаю, кроме того, что своим доходом он обязан крупнейшему в мире месторождению асбеста».

С решительностью истинной дочери датского народа и уроженки открытого всем ветрам по-

луострова мать встала из-за стола и погрузила яростный и наглый взгляд в голубые прозрачные глаза Йохана Хансена — в тот момент, казалось, она впервые заметила, что он какой-никакой служитель Божий. «Бумаги на развод уже готовы. Они лежат в выдвижном ящике комода, в прихожей».

— О чем думаешь, дупель?

Я не мог себе представить, что Хортон способен задать мне такой вопрос и при этом наградить меня ласковым прозвищем, смысл которого наиболее точно передает слово «кретин». Можно было, конечно, ответить ему, что я мысленно путешествую по миру, занесенному песком и пылью много лет назад, древнему миру, где можно было расстаться из-за плохого фильма; я жил в этом мире почти двадцать лет и у меня там было место за столом, между матерью и отцом, которых я в тот злополучный вечер видел вместе чуть ли не в последний раз, по крайней мере в один из последних. От этого мира сейчас ничего уже не осталось. Пастор умер на моих глазах. Анна долго прожила в свободном союзе с мелким швейцарским бизнесменом, но и она умерла пятью годами раньше от передозировки лекарств, которую устроила себе намеренно. Поршнево-

роторную машину украли и вдребезги разбили на автостраде вскоре после отъезда отца, свои дни она закончила у торговца подержанными деталями. Что до «Спарго», судьба его сложилась в соответствии с тенденциями рынка: он постепенно приходил в упадок, потом мать продала его молодому марсельскому предпринимателю, который счел своим долгом отказаться от идеи артхаусного кино и переделать кинотеатр в порнозал, который сперва назывался «Прадо», потом «Зигзаг», пока здание со всеми потрохами не перекупил владелец «Оптики», производитель очков, который, несмотря на это, не слишком внимательно присматривался к прошлому приобретенного помещения.

Вот о чем думал «дупель» этим январским вечером, пока температура на улице неостановимо падала. Наших дополнительных одеял вскоре стало не хватать, чтобы сохранить нам хоть каплю тепла. Обогреватели были включены на максимум, но они были слишком старыми, чтобы справляться с бешеным нравом зимы.

— А ты видел, что вчера произошло в Нью-Йорке и еще во всяких разных других городах во всем мире? 3000 чуваков одновременно спустили портки, понимаешь, прямо вот так разом!

Это вроде как праздник такой, называется «*No Pants day*»[5]. Диктор что-то там стал объяснять типа: «Члены этого клуба так поступают для того, чтобы чувствовать себя более свободными без брюк, и еще, в течение всего дня они ведут обычную жизнь, ходят на службу или в магазин, но только в трусах…» Не, правда, кажется, что тебе это снится. Прикинь, заходит к нам такой вот охранник в стрингах и объявляет: «Хансен, пройдите на вахту». Или судья сидит в зале в кальсонах и собирается тебе впаять двадцаточку. Ох, объяви этот *No Pants day*, во жара была бы тут! Говорю тебе, кореш, мы живем в мире, где все сплошь поехавшие крышей. С другой стороны, я не против, если людям хочется проветрить яйца. Но в январе, при таком морозе, это уже, бля, экстремальный спорт!

Что-то мрачное и тревожное вдруг разлилось в воздухе, словно толстая шаль тоски укутала мои плечи. Хортон продолжал излагать сводку последних радионовостей, но его слова рассеивались в воздухе и не доходили до моих ушей.

У меня часто появлялось это внезапное ощущение пустоты и горя. Особенно когда на время

---

[5] Примечания: 5
Празднуется во многих странах 13 января.

оживляя своих мертвецов, я потом особенно остро ощущал свое полное одиночество. Ведь отныне я был последним из южных Хансенов.

Тетфорд-Майнс

После ухода отца Анна и не подумала предпринять каких-нибудь усилий, чтобы как-то больше сблизиться со мной, вела прежнюю жизнь как ни в чем не бывало и демонстративно не замечала тень пастора, которая тем не менее продолжала бродить по нашей квартире. В ту эпоху я крепко обиделся на мать за то, что она ни в чем не уступила Йохану и отпустила его так, словно он был случайный посетитель. Этот перелом никогда уже не сросся. К тому же следующим летом я и сам улетел в Канаду, чтобы жить с отцом.

Тетфорд-Майнс сегодня — это одновременно географическая аберрация и эстетический курьез. Кроме достаточно выразительного, говорящего названия, ничего особенно выдающегося с точки зрения фактов и событий. Город (45°06′ с. ш., 71°18′ з. д.) насчитывает 25 тысяч жителей, разбросанных в среднем человек по сто на квадратный километр на общей территории в 225,79 квадратного километра. Местность пересекает небольших размеров река Беканкур. Город находится на равном расстоянии от Квебека на севере

и Шербрука на юге. Он относится к административному региону Шодьер-Аппалачи. Признаки некоего процветания этого небольшого городка — собственная многопрофильная больница, колледж общего и профессионального образования, конференц-зал и закрытый бассейн. Каждый год там проводят музыкальный фестиваль «Наша смена» и ярмарку старинных автомобилей. «Ассюрансиа» и «Голубые носки» из Тетфорда — соответственно хоккейная и бейсбольная команды, представляющие этот город.

Но когда приезжаешь на местность, весь этот внушительный каталог жизненных благ и социальных служб куда-то испаряется из головы, и ты видишь только громадные котлованы, которые опоясывают и испещряют город до самого центра. Такой типичный пейзаж после Армагеддона. Шахты, шахты, шахты под открытым небом, глубокие, достигающие чуть ли не центра Земли, огромные лунные кратеры, громадные марсианские могилы, ступеньками спускающиеся вниз, изрезанные извилистыми дорожками, с пыльными отвалами на поверхности вскрышных пород, похожими на огромных уснувших животных. Там и сям огромные озера, которые, кажется, упали с неба, наполненные потрясающе красивой водой

изумрудного цвета, похожие на моря, пригрезившиеся ювелиру; они кажутся неестественными и странно сияют посреди всего этого унылого и мрачного пейзажа, испещренного рытвинами, словно изборожденного морщинами и шрамами.

Имя последнего муниципального образования, поглощенного городом Тетфорд-Майнс, было Асбест. А соседняя деревушка называлась Горный Лен[6].

Вот тут и жил мой отец, в этом горниле волокон и пыли, в этих невероятных рудничных декорациях, в этом изрытом, истерзанном, искромсанном, ирреальном городке, где с 1876 года царил хризотил, он же асбест, он же горный лен.

Первооткрывателем этого месторождения, которое он, по преданию, обнаружил, поковыряв землю ногтем, был Жозеф Фекто. Это был фермер, и руки у него оказались в буквальном смысле золотые. Вслед за ним Роджер Уорд, а затем братья Джонсон и множество других тружеников земли нового типа начали вырабатывать эту землю до последней крошки, разорять окрестные пейзажи, выкапывать глубочайшие подвалы и взрывать подчистую массивы скал, пронизанные

---

[6] Примечания: 6
Старинное название асбеста.

волокнами белого асбеста, который геологи из Монреаля, специалисты по четвертичному периоду, описывали в своих публикациях о «трех стратиграфических последствиях, составляющих остаточные явления плейстоцена на территории Тетфорд-Майнс».

Пастор Хансен, таким образом, проповедовал Слово Божье в эпицентре палеолита. Он пересек полмира, чтобы вернуться к своим корням, к тем временам, когда появились первые человеческие существа, использующие обработанные камни. Забравшись на экскаваторы и подъемные краны, уходящие в небо, их потомки принялись копошиться в развалинах их жилищ, разрывая пласты прямого залегания, словно металлические собаки, жадно пытающиеся откопать зарытую кость.

Открытые шахты часто носят имя компаний, которые их разрабатывают, и, по свойству смежности, дают название улицам, которые их окружают. Эти фирмы называются «Кинг», «Белл», «Бивер», «Джонсон» и так далее. Иногда окрестные дома соседствуют с пустотой, с обрывом над пропастью, заполненной гигантскими самосвалами и ковшовыми элеваторами, осуществляющими связь мировых глубин с их волокнистыми внутренностями и поверхностью,

чей пыльный пейзаж ни разу в жизни не вдохновил никакую школу живописи.

В 1975 году Тетфорд-Майнс был одним из крупнейших в мире месторождений асбеста, без устали осуществляющим добычу минералов, и никто еще всерьез не заинтересовался двадцатью шестью исследованиями ученых, работающих в сфере здравоохранения, в которых рассматривались случаи заболевания асбестозом и раком легких у пациентов, работающих на рудниках в Пенсильвании, Уэльсе и Квебеке.

И вот как раз в том же самом 1975 году, как раз когда отец переехал в Тетфорд-Майнс, разразился знаменитый «асбестовый скандал» на факультете Жюссье. Было открыто, что этот минерал, присутствуя в здании и мало при этом изнашиваясь, распространяет частицы пыли и может заразить учащихся. Университет закрыли. В течение долгих лет целая команда рабочих, одетых в непроницаемые скафандры, обдирала стены, чтобы сделать помещение неопасным для здоровья.

В этом же году Тетфорд-Майнс добился рекордной добычи в своих недрах, и хризотил KB3 присутствовал везде — в воздухе, в воде, на земле, в садах, домах, школах, на тротуарах и даже в

церкви Йохана Хансена.

Храм Методистской церкви города Тетфорд-Майнс, построенный в 1956 году предпринимателем по имени Дэвид Скотт, располагался в квартале Митчелл, одном из самых скромных и самых истерзанных процессом добычи полезных ископаемых. На нем была примечательная табличка, установленная после строительства: «Внешняя отделка: основное покрытие — асбест, стены — асбест, крыша — асбестоцементные плиты. *Deo gratias!*»[7]

Но как занесло Бога и Йохана Хансена в подобное местечко?

Я прибыл в Канаду в 1976 году на самолете, заполненном беззаботными отпускниками, имея с собой холщовый рюкзак цвета хаки, с результатами жалких шести экзаменов из университета в Тулузе, которых не хватало даже для того, чтобы подтвердить первый год обучения, и небольшой суммой, выигранной в ставках на дерби, поскольку мне повезло как новичку и бедные лошадки принесли мне удачу.

В аэропорту меня обнюхали собаки, чтобы убедиться, что я не везу с собой никаких незаконных

---

[7] Примечания: 7
Слава тебе, Господи!

порошков, семян или других продуктов, которые могли бы войти в конфликт со строгими законами, разработанными министерством сельского хозяйства. Не нашли ни хороших, ни плохих зерен — ничего, что могло бы где-нибудь когда-нибудь прорасти. Тогда я сел в автокар, место D1, у окна. В конечной точке автодороги 112, после трех часов сорока пяти минут путешествия, я наконец поздним вечером оказался в краю, где меня окружали глубокие глотки дьявола.

Пастор ждал меня на конечной остановке автобуса. Он помолодел и выглядел как датчанин, расцветший на лоне природы.

Я сжал в объятиях этого человека так, как, вероятно, никогда до этого не делал. Он повез меня на своей машине, раздолбанном «Форде Бронко» 1966 года, который, казалось, тоже был извлечен из залегающих слоев пород плейстоцена и механическая организация которого явно никогда не оказывалась в ведении доктора Феликса Хейнриха Ванкеля. Он тем не менее отвез нас в храм Методистской церкви города Тетфорд-Майнс, где служил мой отец. Здание окружало несколько елей, которые затеняли фасад и придавали зданию вид, с функциональной точки зрения более соответствующий идее места, где предоставляют

духовные услуги.

Отец не спросил меня, как прошло путешествие, не поинтересовался, жива ли его бывшая жена и работает ли еще ее кинотеатр. Нет. Первыми его словами были: «Ты видел эти ямищи? Никак не могу к ним привыкнуть». Уже потом, после ужина, вспомнив эти его слова, я задал ему единственный вопрос, который меня волновал, он возник у меня уже в тот день, когда отец объявил нам, что уезжает в Канаду. Вместо того чтобы искать новую работу в таких отдаленных краях, почему бы ему было не обратить свой взор на родную землю, на скандинавский полуостров? «Ну конечно, я об этом думал. Но отдавал себе отчет, что я для этого уже недостаточно датчанин. Слишком много времени провел я во Франции, слишком много времени прожил с твоей матерью. Слишком много времени ушло на то, чтобы научиться правильно писать, различать все эти похожие слова, которые иногда совсем между собой не различаются, придерживаться всех этих грамматических правил… И теперь все это забросить, забыть, что “когда два глагола следуют один за другим, второй стоит в неопределенной форме” или что “в сложных временах причастие прошедшего времени спрягаемого глагола

согласуется в роде и числе, когда прямое дополнение стоит перед глаголом". А здесь я нахожу понемногу от каждого из этих миров: с одной стороны, язык твоей страны, с другой — климат и дружелюбие мужчин и женщин, которые здесь живут. Но вообще-то я думаю, что в наш первый совместный вечер мы можем поговорить о чем-нибудь другом. Ну, например, что ты мне расскажешь, какая муха тебя укусила, что тебе взбрело в голову пойти играть на скачках, и как тебе удалось вот так взять и выиграть».

Официально, как духовное лицо, Йохан не любил азартные игры, но в тот момент я почувствовал, что его очень взбудоражила мысль о том, что его сын, отдавшись на волю случая, смог за несколько секунд выиграть сумму, эквивалентную трем его месячным зарплатам. Однако когда я предложил вместе сходить на скачки, он тут же наглухо закрылся, как дверь в салун. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть». Вот в этом-то и была его профессиональная узость, ограниченность его нотаций, если не называть это прямо — занудностью и брюзгливостью протестантского пастора.

Вчера вечером в тюрьме умер человек. Один заключенный зарезал другого в камере. Охранник рассказал нам, как все это произошло. Убийца, некий Дузан, положил подушку на лицо соседа и перерезал ему горло ножом, а потом ждал, когда он перестанет дергаться и из него вытечет вся кровь. Когда тот утихомирился, убийца постучал в дверь камеры и позвал охранника. Он не сопротивлялся, не спорил. Объяснил только, что нож он смастерил из ручки вилки, затачивая ее об пол в течение долгих дней. Жертву звали Сильвестр Орель. «Я очень его любил, это чистая правда, я очень любил его, но я все-таки должен был сделать это. Он был гаитянин, и он некоторое время назад очень изменился. Ночью он говорил всякие ужасные вещи и колдовал, занимался магией вуду, а мне грозил всякими карами. Он говорил, что дух, который борется с ворами и преступниками, Хевиосо, скоро поразит меня громом. Много раз я предупреждал его, я говорил: “Сильвестр, хватит, кончай с этим, или я буду вынужден тебя убить”. Но он мне не поверил».

Я ненавидел такого рода истории. Когда они случались, это напоминало мне, в каком месте мы живем, с людьми какого рода нам приходится делить кров и пищу, а иногда и общаться дру-

жески во время прогулок во дворе или на общей террасе. И в течение всех последующих дней, встречая себе подобных на прогулке, я задавался вопросом: что же у них в душе и что же у них за пазухой?

«Я хорошо знал того Дузана. Неплохой такой тип, но тут все знают, что есть здесь такие ребята, которые себя трогают, ну ты понимаешь. Когда я раздавал пилюли, я ему каждый вечер пригоршню выдавал. Если бы спросили здешних коновалов, они все бы сказали, что у него крыша съехавшая. Но они все такие же, как тот зубодер, наплевать им на нас, они ничего не хотят делать. И вот завтра, вместо того чтобы объяснить ищейкам, что это парень правда тронутый, они будут молчать как рыбы. И Дузана нагрузят по полной, уж поверь мне. Во всяком случае, это же вообще никуда история, что Сильвестр хотел его заколдовать или что там еще. Сильвестр был одним из самых тихих и скромных пацанов здесь, вообще безобидный, извинялся все время. Ну да, он гаитянин, и что с того? Думаешь, они все время только и делают, что черным петухам шеи крутят? В любом случае завтра я пойду и расскажу начальнику, что с Дузаном не все так просто, что он колеса горстями ест. Это ничего не изменит,

но я все равно пойду скажу начальнику».

Излагая хронику пенитенциарной психиатрии, Патрик Хортон при этом сосредоточенно листал зачитанный до дыр порнографический журнал, издание которого, скорей всего, пришлось на его подростковые годы. Я не понимаю, каким образом такого типа журналы, запрещенные тюремными правилами, прошли через все обыски в камерах — этому могло способствовать только доброжелательное попустительство охранников, которые тактично закрывали глаза на эту старинную реликвию. Поколебавшись некоторое время, Патрик сконцентрировал внимание на фотографии какой-то роскошной женщины былых времен, с которой, видимо, у них была уже долгая связь. Потом он расстегнул ширинку, словно участвовал в акции «No Pants Day», и робким голоском застеснявшегося убийцы сказал: «А ты не мог бы на пару минут отвернуться, я тут подрочу чуток…»

Тюремное заключение растягивает дни, как резинку, длит без конца ночи, замедляет часы, оно придает времени вязкую, тошнотворную консистенцию. Здесь каждый испытывает такое ощущение, точно пробирается по густой липкой грязи, раз за разом вытаскивая из нее ноги, и

каждый шаг дается с трудом, но сделать его необходимо, чтобы не увязнуть в отвращении к себе. В тюрьме мы словно похоронены заживо. Те, у кого небольшие сроки, еще могут на что-то надеяться. Другие уже погребены в братской могиле. И если вдруг случайно им сокращают срок и выпускают их на волю, они выходят, чтобы вдохнуть воздух свободной жизни, но все равно возвращаются сюда, в дом нечестивых, где их называют по фамилии и обращаются с ними как с животными на ферме.

Я скучаю по прежней жизни до такой степени, что иногда просыпаюсь по ночам, обнаружив, что сжал в отчаянии зубы до скрипа и скрежета. По моей прежней жизни, когда я стоял за штурвалом «Эксцельсиора», а Вайнона, разряженная, точно сошла с рекламы магазина спортивной одежды, облетала на своем одномоторном «Бивере» романтические озера Лорентидов, когда Нук, моя вечно живая собака, любительница плавать в озерах и бегать по лугам, заводила со мной долгие разговоры, содержание которых знала она одна. Эта жизнь больше не существует, и когда двери тюрьмы вновь откроются для меня, я останусь на тротуаре, рядом со строением под номером 88 по бульвару Гуэн, и мне нужно будет выбирать

направление, куда идти, и продолжать там свое наказание, не подлежащее амнистии. И там у меня уже не будет журналов для прыщавых подростков и послеобеденного восседания Хортона на унитазе, которые могли бы отвлечь меня от самого себя.

В воскресенье я зашел на мессу, которую служил тюремный капеллан. В комнате, освещенной неоновыми лампами, пахло фунгицидами. С десяток заключенных, сидя на принесенных с собой стульях из столовой, смотрели на какого-то бедолагу, которому явно мешал лишний вес. Каждый его жест выдавал тайное желание сорвать с себя тесное церковное облачение, сковывающее движения. В какой-то момент по сценографии действа потребовалось, чтобы духовный пастырь воздел вверх дароносицу и поддерживал ее на вытянутых руках, читая при этом псалмы. Но в нашем случае тюремный капеллан, узник своей тучности и прочных швов в пройме сутаны, не сумел поднять кубок выше уровня подбородка. Движение было абсолютно лишено изящества и нисколько не напоминало о Божьей благодати, скорее оно напоминало жест клиента, уже опустошившего свой стакан и намекающего бармену, что следует повторить.

Католическое богослужение всегда казалось мне явившимся из другой эпохи, из другого мира, каким-то пережитком темных веков. Священнослужители, одетые как императоры древних инков, бормочут какие-то маловразумительные, пафосно-торжественные гимны на мертвых языках, мешают вино с водой, благословляют горбушку хлеба и с помощью песнопений осуществляют так называемое пресуществление, то есть превращение кусочка булочки в божественную голубку. Причем даже при условии, что ни одно пернатое создание ни разу не появлялось в этой комнате, все заключенные, присутствующие при этой сцене, скажут вам, что видели, как вылетела птичка. Только лишь потому, что у них нет желания обсуждать все это, потому что достаточно просто открыть глаза в нужный момент, потому что у них есть потребность верить в эту древнюю историю, как цеплялись за нее до них их родители и родители их родителей, и что вдобавок для них соорудили удобнейший ларчик, чтобы они складывали туда все сомнения, и он называется вера.

Вера, этот профессиональный аксессуар, про который отец однажды признался мне, что его потерял (и при этом моей матери прожужжал о ней

все уши), и в лоне которой, по его собственным словам, как вы помните, он хотел бы пребывать хотя бы один недолгий момент, да-да, всего только «несколько часов в совершенстве веры».

— А что ты туда поперся вообще? С каких таких пор ты ходишь к мессе? Без бля, ты, чувак, с катушек слетел. И еще в такой убогой дыре, пропахшей ссаками. Ну я понимаю в церковь, это еще туда-сюда, зрелище там, все в золоте, пахнет всякими травками прикольными, музыка красивая, в общем можно разок сходить, почему нет, о'кей. Но здесь, этот хор, где одни обсосы да лузеры, — нет, не понимаю. Ты видел того кюре? Бля, вообще никакой. Морда такая противная — похоже, в детстве кошек мучить любил. Если они его отсюда выгонят, не удивляйся — он тут уже всех достал. Нет, ты уж мне поверь, вся эта богадельня не для таких, как мы. О чем там Моисей говорил?

Моисей обернулся к своей немногочисленной аудитории с подходящим к случаю псалмом. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами; они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в

скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Аминь». Это не то чтобы особенно вдохновляло, но вносило своего рода определенность. Не тот размах, конечно, что у отца — у него после каждой прочитанной им главы чувствовалось дуновение весны, журчание ручейков, шуршание пробуждающейся природы, шелест ветра в луговых травах, бурная весна, радость дроздов, прихорашивающихся на низких ветках деревьев. Смысл его проповедей, как вся эта библейская болтовня, утопал в потоках резонерства, но стиль его был своеобразен и уникален, такая простая весть всем тем, кто его слушает, что все вокруг — жизнь, что у каждой вещи есть свой смысл и своя ценность, и нужно только как следует приглядеться, всмотреться, проявить внимание, чтобы понять, что мы все являемся частями огромнейшей симфонии, которая каждое утро в бурной и зажигательной какофонии импровизирует музыку выживания.

Я нечасто говорю о матери. Может быть, потому, что я так и не смог никогда понять, почему она так рано уволилась из общего оркестра. На ее прикроватном столике лежала длинная лекарственная партитура, кантата молекул, тща-

тельно выстроенных, чтобы заглушить биение сердца, и ничего более, ни одной ноты, ни одной коннотации, ни одной записи ни швейцарскому сожителю, ни датскому бывшему мужу, ни французскому сыночку. Анна рассталась с жизнью в шестьдесят один год, в тот же самый день, когда Цзян Цин, вдова Мао Цзэдуна, покончила с собой посредством повешенья.

Я спрашиваю себя, была ли мать больна, тосковала ли, была ли слишком одинока, а может быть, она зря решила связать жизнь с этим швейцарцем; может быть, она скучала по кино, а возможно, вспоминала об аварии, в которой погибли ее родители; стыдилась ли она меня, любила ли моего отца, изменяла ли ему и насколько часто; страшно ли ей было, жалела ли она о содеянном, когда проглотила все эти таблетки, вспоминала ли о скрипящих полах в нашей квартире, заходила ли она ночью в мою комнату, чтобы поцеловать меня, когда я был младенцем, обнимала ли меня, чтобы успокоить, знала ли, что я считаю ее очень красивой и гораздо более яркой, чем отец, что я любил все ее фильмы; вспоминала ли она о нашем путешествии в Данию, помнила ли она выражение *Jeg elker dig mon søn*, могла ли перевести его, а оно означало «Я люблю

тебя, сын мой»; было ли у нас когда-нибудь что-нибудь общее, именно у нас с ней, которое связало бы нас навеки, знала ли она, что в мае 1968 года я вырезал ножницами и сохранил листовку, от которых вдова Мао Цзян Цин улыбнулась бы, затягивая на шее веревку: «Годар, самый мудацкий из прокитайски настроенных швейцарцев».

С течением времени, прокручивая все это в голове, я пришел к выводу, что моя мать была бы замечательным отцом. Она совершила чудо, сумев вписать нас в свою жизнь и проволочь за собой по пенному следу своей бурной деятельности, увлечь на свой маленький корабль, сеющий раздор и смуту, провести через все подводные камни и опасные места, возглавив движение непокорных граждан. В отличие от отца, который никогда не умел заниматься двумя вещами одновременно, я всегда считал, что у Анны целых два мозга. Один — логический и рациональный, умеющий взвешивать все за и против, анализировать, безошибочно находить верное решение; другой, кипящий, постоянно заряженный, бесконечно просчитывающий разнообразные данные, одновременно решающий несколько задач, перескакивающий с предмета на предмет и летящий навстречу опасности, увлекая за собой

свой экипаж. В отличие от матери Патрика Хортона, моя мать никогда не сунула бы Библию в мой вещмешок перед отправлением в тюрьму. Я думаю, скорее, что она на пороге сказала бы мне что-нибудь обнадеживающее и при этом весьма язвительное, типа: «Люди, которые работают, скучают, когда не работают. Люди, которые не работают, никогда не скучают».

Церквушка, в которой служил отец в Тетфорд-Майнс, была небогатой, скромной, умеренно-методистской. Построена она была в 1957 году по проекту архитектора Людвига Хачека, изобретателя фиброцементных плит. К ней примыкал и дом священника, где жил отец. Используя архитектурные термины, в ее конструкции были использованы классический неф, прямоугольный фундамент, выступающие хоры, угловая усеченная арка. Говоря простыми словами, со своими параллельными балками, бороздящими потолок, этот храм поразительно напоминал опрокинувшийся корабль. Сквозь витражи мирно пробивался дневной свет, стрельчатые окна, центральный проход, покрытый пурпурным бархатным ковром, два ряда кресел из светлого дерева, стены сливочного цвета, люстры, похожие на большие бокалы, наполненные медом, — в об-

щем, Методистская церковь моего папы обладала неповторимой индивидуальностью, выглядела гостеприимной, спокойной, тихой и при этом основательной. Она относилась к кварталу Митчелл, скорее англоязычному, но проповеди, которые произносились «на французском из Франции», вроде бы были понятны прихожанам. За несколько месяцев Йохану удалось совершить небольшой трудовой подвиг: принять законы и правила нового сообщества и сделать так, чтобы оно приняло его. Каждое воскресенье он наполнял свой корабль пассажирами, а на неделе принимал участие в разнообразной городской деятельности, подчас не относящейся к его духовному ведомству. Теперь было похоже, что этот человек родился в одном из местных котлованов или кратеров. Раз в месяц, по воскресеньям, он проводил дополнительную службу, которую называл «торжественное богослужение для шахтеров». И тогда, словно в нравоучительном фильме сороковых годов, строгие мужчины с посеревшими от асбеста лицами, в рабочих спецовках, только что выбравшиеся из шахты, поднимались на борт его корабля, и их уносило умиротворяющим потоком речей того, кто не обещал им ничего большего, чем капелька отды-

ха и покоя на поверхности земли.

Спустя несколько месяцев, проведенных в его обществе, я полностью убедился, что здесь пастор нашел свое место. Мир, наполненный людьми, которые не слишком-то отличались от его соотечественников с полуострова Гренен, относился к нему с той же доброжелательностью, какую и он проявлял по отношению к этому миру. Его вселенная легко описывалась простым каталогом повседневной жизни — «Форд Броко» 1966 года без всяких выкрутасов, горы вдали на горизонте, глубоководные впадины и лунные кратеры возле дома, масса свободного времени, чтобы методично записывать дела в тетрадку, содержать храм в чистоте и порядке, прославлять то, что полагается прославлять, и, возможно, иногда, сидя в тени пахнущих смолой елок, задумываться о какой-нибудь симпатичной прихожанке с соседней улицы.

Такой была в начале 1977 года жизнь пастора Йохана Хансена.

Что касается меня, я снял квартиру на улице Нотр-Дам и нашел работу на маленьком строительном предприятии, где в течение нескольких месяцев работал мастером на все руки. Я в ускоренном порядке выучился многим строительным

специальностям, и разнообразие строек, которые обслуживало мое предприятие, позволило мне, под чутким руководством профессионалов, учиться с удовольствием и пользой. Наше предприятие Дюлорье целиком помещалось в автофургоне «Форд Эконолайн». За рулем был отец семейства, Пьер Дюлорье; рядом сидели его сыновья, Зак и Жозеф; а позади, среди разного рода инструментов и материалов, примостились старший ученик Джо Смит и я, мальчик на побегушках.

Пока стояла хорошая погода, до всяких снегов и морозов, мы посвящали свое время капитальному строительству и внешней отделке. Когда приходила зима, мы работали по внутренней отделке, занимаясь паркетом, настенными панелями, штукатурными работами, установкой каминов и укрощали систему канализации, в которой обязательно что-нибудь к чему-нибудь не подходило. Мои руки были все в ссадинах, колени опухали, спина болела, но мне нравилась эта работа. Едва закончив ванную комнату в одном доме, мы переезжали в другой, чтобы построить там гараж встык к дому или переделать электропроводку, которую погрызла банда белок. Зак и Жозеф глубоко уважали отца, а тот

никогда не повышал голоса, даже когда отдавал приказание Джо, и постоянно насвистывал под нос какие-то одному ему знакомые мелодии. Что касается меня, мне еще рано утром показывали, что я должен сделать и как нам постараться не лишить весь квартал электричества. Не слишком раздумывая о своих действиях, я выполнял изо дня в день эти разнообразные поручения.

Мысль о том, что я живу в городе, пропитанном асбестом, усыпанном ядовитой пылью, в городе, где на каждом углу тебя подстерегает асбестоз, беспокоила меня не больше, чем других жителей Тетфорд-Майнс, которые рождались, росли, учились, влюблялись, совокуплялись, женились, получали страховку, работали, разводились, приходили в себя, вновь влюблялись и совокуплялись, старели, кашляли и умирали между далекими горами и близкими кратерами, ямами и котлованами.

Когда позволяла погода, мы с пастором устраивали автомобильные прогулки до озера Мемфремейгог, водная поверхность которого разделена между Канадой и США, или в стоящую прямо на берегу озера деревню Норт Хэтли, с красивыми домами английских колонистов. Мы всегда останавливались в Шербруке, где жил Жерар

Леблон, органист Методистской церкви. Каждое воскресенье он приезжал в Тетфорд-Майнс, чтобы сопроводить службу своей музыкой, более или менее духовной. Но этот человек с профилем голливудского соблазнителя сороковых годов, о котором втайне мечтали все прихожанки, находящиеся в том возрасте, когда возможно согрешить всеми пятью чувствами, был действительно потрясающим органистом, гениальным музыкантом — его длинные паучьи пальцы плели паутину звуков на двух рядах клавиатуры органа «Хаммонд B3» с его деревянной педалью, игрой ручек на панели, фоническими колесами, динамиками Лесли и девяносто одним фон-диском. Мой отец нашел его и принес в церковь, этот невероятный, абсолютно мирской инструмент, который широко использовали такие группы, как «Прокол Харум», «Дорз», «Энималс», и такие исполнители, как Перси Следж и Джордж Браун. Но когда Жерар Леблон уселся за клавиатурой задолго до начала службы, можно было подумать, что Джимми Смит, Рода Скотт и Эролл Паркер объединились, чтобы сам Господь, если он существует, пожалел, что лично не канонизировал Лоренса Хаммонда, изобретателя этого чудесного инструмента. В этой пустой церкви, когда Леблон

садился перед инструментом, когда его пальцы призывали всех дьяволов джаза, блюза и свинга, старый корабль вдруг становился просторнее и выше, небеса делались голубее, счастье разливалось по нефам и аркам, Иисус укладывался обратно в могилу, а Жерар, прелат из Шербрука, единолично царил в эмпиреях.

Затем, после нескольких рифов и бурных пассажей, он неспешно спускался с небес, и все вещи возвращались на предписанные им изначально места. Как ни в чем не бывало первые верующие заходили в храм в назначенный час под звуки умиротворяющей прелюдии Баха, который, казалось, самолично восседает среди прихожан, желая послушать исполнение своих пьес.

Отец прекрасно смог оценить воздействие, которое исключительный талант этого музыканта оказывал на популярность его проповедей среди паствы. Вот только через несколько лет уже сложно было сказать, приходят ли в храм послушать Слово Божье или дьявольски классную музыку. Причем не только послушать, но и посмотреть, потому что прихожане приходили все раньше и раньше, чтобы занять лучшие места, желательно в первом ряду, откуда можно было наблюдать за быстрым порханием пальцев музыканта по

клавишам и невероятной пляской его ног, подскакивающих, крутящихся, летящих по деревянным педалям. Со спины этот балет напоминал бег человека, который не знает, в каком направлении ему мчаться, внезапно делает шаг вправо, потом возвращается, устремляется влево, бросается в центр и вновь продолжает свой блуждающий танец-бег, который вроде бы никуда не ведет, но при этом в точности следует строгим законам партитуры. Виртуозность пальцев стопы Леблона вошла в легенду точно так же, как невероятное мастерство пальцев кистей. В нашем сообществе он получил прозвище Жерар Четверорукий.

Отец очень гордился таким выдающимся партнером, который со временем стал его другом — и главным аттракционом его пасторской программы. В этом легко было убедиться, когда вокруг Жерара на паперти собиралась огромная толпа, а Йохан, слегка оттесненный в сторону, был окружен только несколькими недалекими поклонницами, которые в своей жизни музыку слышали только в больших универмагах, залах ожидания и лифтах.

Когда мы встречались потом, чтобы выпить по стаканчику, Жерар каждый раз не мог удержаться, чтобы просветить нас с отцом по поводу

секретов устройства «Хаммонд B3». «Это совершенно сумасшедшая штука. Просто адская машина. Представь себе девяносто один диск, у каждого из которых строго определенное количество зубчиков. Потом ты их поворачиваешь в мощном магнитном поле. Там катушка, прикрепленная к каждому магниту, сама становится сенсором для переменного магнитного поля, которое реиндуцируется на колесики, сделанные из сплава, обладающего магнитными свойствами. В этом-то и секрет Лоуренса Хаммонда, алхимическое воздействие между фан-дисками, магнитными полями и сенсорами. И вот именно благодаря этим электромагнитным связям, используя разные регистры, ты можешь с равным успехом играть Питерсона или Генделя, Эрланда или Баха. Используя синкопы или, наоборот, избегая быстрой смены звуков. Лоуренс и правда был странный тип. Я читал, что в юности он одно время жил во Франции, где в пятнадцать лет предложил концерну «Рено» систему автоматической коробки передач для автомобилей. Потом, уже в Америке, он в 1922 году изобрел систему 3D, делал странные настенные часы, а потом купил фортепьяно и с помощью своего бухгалтера, который по совместительству работал органистом

в церкви, построил свой первый орган из кусочков проволоки, магнитов, колесиков и катушек. Вот так и родился новый инструмент. На гребне волны он еще и сделал в 1932 году первый полифонический синтезатор, который назывался “Новахорд”. Невероятный персонаж вообще-то, да? Он все свое время тратил на то, чтобы выдумывать какие-то системы. После музыки он подавал патенты на всякие новые гироскопы, а незадолго до смерти сконструировал для армии новую систему ракетного самонаведения».

Какая связь между грохотом бомб министра Макнамары и легким дыханием флейты Хаммонд-органа в гимне *Te deum* Брукнера? Никакой, кроме той, что эти две столь различные и даже противоположные по духу партитуры появились примерно в одно и то же время в голове одного и того же человека, в результате беспорядочного бега мыслей в уме, лишенном ответственности, нажимающем в случайном порядке на разные клавиши огромной клавиатуры человеческого знания.

Безо всякого шума и суеты моя жизнь в этом маленьком городке мало-помалу обустраивалась, входила в определенный ритм. Прекрасные весенние дни создавали в центре Тетфорд-Майнс

атмосферу праздника, солнце высветило красивые старинные дома в английском стиле. Я работал, ходил на свидания с девушками моего возраста, собирался отправиться в путешествие на лодке по озерам и даже купил у Жозефа, сына моего работодателя, маленькую «Хонду Цивик» 1974 года, которая весила меньше 600 килограмм и отличалась тем, что двигатель у нее вращался против часовой стрелки, — впрочем, у всех моделей этой марки такая особенность.

После особенно трудоемкого и удачно проведенного строительства Пьер Дюлорье водил нас ужинать в ресторан. Зимой меню состояло из китайского паштета, чего-то вроде запеканки из рубленого мяса, кукурузных зерен, картофельного пюре и сыра. Летом за тем же столом нам подавали салат коул слоу, цыпленка в меду и жареную картошку. Во время этих собраний у стойки Дюлорье выстраивал новый порядок в мире трудовых отношений, параллельно гневно разоблачая пару-тройку политиков, обещал, что в следующем году наше предприятие разрастется и расширится, потом замолкал, давая возможность сыновьям дружелюбно подсмеиваться над моей «Хондой», которую они мне уступили: «Она миленькая, уютная, и в ней полно места, особенно

если не надевать часы на руку».

Шли годы, и я замечал, что душевные порывы пастора иссякают, он устал, выдохся, ему трудней стало доносить Божье Слово из книг, молиться и нести людям то, за что он получал заработную плату. Но он продолжал жить по правилам, содержать в порядке свое хозяйство, весь этот большой корабль, который ему доверили. Каждое воскресенье Жерар выполнял свой долг, обеспечивая зрелищность действа, и даже если весь этот цирк Барнума перестал иметь для отца важное значение, он продолжал писать свои проповеди — может быть, даже с бóльшим тщанием, чем когда-либо, продолжал рассказывать вечную историю людей, мира, который их окружает, животных, за которых они в ответе, цитируя порой Евангелие от Конрада Лоренца или Мориса Метерлинка, каждый раз начинал с самого начала, с того дня, когда душа Неба отделилась от души Земли и когда каждый оказался в ситуации выбора между добром и злом.

Когда ему хотелось преодолеть тоску, недовольство собой, своей жизненной позицией и поведением, он надевал парадный костюм и отправлялся навестить своих могущественных конкурентов, церковь Святого Альфонса на ули-

це Нотр-Дам, 34, в двух улицах от городского почтамта и железнодорожного вокзала. Он старался попасть туда в те часы, когда народу было поменьше, и изучал его, прогуливаясь со сложенными за спиной руками, обходя храм таким специальным шагом, как ходят посетители в музеях. Это здание со всем своим содержимым было включено в культурное наследие провинции Квебек и считалось одним из самых красивых и богато украшенных в стране. Здесь-то, конечно, никаких следов асбеста, только благородные материалы. Люстры в сто свечей, пышные алтари, раскрашенные статуи, великолепная резьба по дереву, каменные скульптуры, картины с библейскими сюжетами, раскрашенные гравюры — словом, все вокруг свидетельствовало о роскоши и богатстве католической церкви, которая долгое время безраздельно царила над телами и душами людей в этой местности, где женщины, иногда рожавшие по десять детей, неустанно подпитывали ненасытную утробу все более требовательной Церкви. Все, что он видел здесь, от пола до потолка, все, что блестело и сверкало, было создано не для того, чтобы прославить Бога, но лишь для того, чтобы подчеркнуть неустанный труд и могущество духовенства, потешить

гордость и тщеславие Рима.

А труд, надо признать, был основательный и кропотливый. Округлый купол, мощный фундамент, трансепт с тремя нефами, везде камень и ценное дерево, прочные скамьи, как вековые дубы, единство композиции и убранства, барочные украшения. И искусство — везде, во всех своих формах, картины, гобелены, вышивки, алтари с позолотой из швейцарского золота, деревянные панели, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, и главное запах, запах дома, за которым хорошо следят и присматривают, запах ухоженности. Ко всему этому нужно прибавить восемь мест для исповеди, восемь кабинок, где возможно поведать о своих ошибках, восемь исповедален, размер и количество которых наводят на мысль, что в городе каждый вечер ужинает самолично Сатана. И наконец, взгромоздившийся на высокий балкон, довлеющий медными трубами надо всей толпой верующих, орган Касаван, построенный в 1902 году, с двадцатью одним регистром, двадцатью семью рядами и столькими трубами, что можно было справиться и меньшим количеством.

В этом отделанном драгоценными материалами пространстве у отца кружилась голова, в ней проносились и перевернутый корабль, и

Хаммонд-орган со своими педалями, металлическими магнитными колесиками, ногами Жерара, сосновыми скамейками, ободранными стенами, Джейсом Брауном и Джимми Смитом, несущимися к потолку, и всем этим долбаным борделем, начинающим свинговать, пока колонка Лесли взбивает сливки, как миксер, и даже на улице при этом пахнущие хвоей ели качали стволами в ритм с ветром. Дыхание этой музыкальной комедии придавало ему веры в себя, желания в конце концов найти того самого кролика, шляпу и, кто знает, может, и капельку магии. Убежденный, что его место — среди англичан квартала Митчелл, он возвращался, насвистывая, в свое жилище при храме, прочь от Рима, от всех дел его и от всей гордости его.

На обратной дороге, шагая уже уверенной поступью странника, он думал об этих храмах для банкиров, построенных как офисы предприятий, безо всякой умеренности и сдержанности, об этих витринах, на которых выставлено все это золотишко, все эти необходимые для торговли стеклянные побрякушки, на которые в свое время покупались земли и память индейцев.

Январь все не кончался, и холод продолжал царить над нашими несчастными организмами.

Температура по ночам опускалась все ниже и ниже, но в камерах она все же стабилизировалась на отметке между 15 и 16 градусами. Все реки замерзли; скованный невиданным морозом, застыл ледяными сосульками даже Ниагарский водопад. Патрик показал мне фотографию в журнале.

— Это вроде рекорд, такого сто лет как не было. Они огромные, как сталактиты. Заметь, я не сказал сталагмиты. Это нам препод объяснил разницу между ними: сталактит спадает сверху, сталагмит поднимается наверх. Круто, да? Издали, на картинке, это напоминает мне фонтан, который был в маленьком парке возле моего дома, но гораздо большего размера. В парке там еще была статуя девчонки практически в чем мать родила, с какой-то типа как вазой на плече, и из этой вазы течет вода. Ну и когда был мороз, это было прямо ни на что не похоже, вот только если на Ниагару, но гораздо меньше. Когда ты видишь размер этих сосулек и пытаешься прикинуть их вес, сразу появляется вопрос: а как это держится, не падает? А ты вот как думаешь, когда все это начнет таять, оно сразу одним махом обвалится или по кусочкам?

Такие вот хитросплетения мысли были характерны для Патрика, и дело всегда заканчивалось

каким-нибудь зубодробительным вопросом в хортоновском стиле. Что на это сказать? Что ему ответить?

Вчера выдался приятный момент, меня вызвали на свидание. Ко мне пришел Киран Рид, уже восьмой раз за то время, когда я здесь сижу. Единственный человек, которому есть до меня дело, который уже больше года старается заботиться обо мне. Он один, только он один с самого начала до самого конца был на моей стороне и сразу стал защищать меня, он яростно противился моему увольнению, защищая мою шаткую позицию по отношению к работодателю, и с той же убежденностью он выступал свидетелем защиты на суде. Его настойчивость мало чему помогла, он только нажил себе врагов в «Эксцельсиоре».

Киран Рид — один из шестидесяти трех собственников, владеющих недвижимостью в Монреале, квартале Ахунтсик, в здании «Эксцельсиор», где я в течение двадцати шести лет был суперинтендантом, консьержем, фактотумом, медбратом, садовником, психологом, электриком, сантехником, компьютерным мастером, специалистом по установке кухонного оборудования, по химической защите, механиком — в общем, достойным сторожем этого маленького

храма, от которого у меня были все ключи, и все его секреты были мне известны.

Месье Рид жил в квартире 605. Она расположена на шестом (и последнем) этаже, окна выходят на бассейн и сад. В вечерние часы она озаряется мягким светом, и можно любоваться верхушками кленов в лучах заката. Киран Рид, уроженец Квебека, по происхождению англичанин, до выхода на пенсию бóльшую часть своей профессиональной деятельности осуществлял в Соединенных Штатах, где занимался очень странным делом: сравнивал стоимость мертвых. На его родном языке эта профессия называлась *casualties adjuster*[8]. Месье Рид в основном работал как независимый эксперт, являлся по зову, как горестное такси. Его нанимали страховые компании, которые были озабочены тем, чтобы защитить свои интересы и поторговаться о значимости усопшего, когда произошла трагедия и они должны возместить ущерб семье жертвы.

Киран Рид, один из самых первых жителей «Эксцельсиора», всегда жил скромно и незаметно. «Таился и скрытничал», как говорили его недоброжелатели. Он не заводил тесных и долго-

[8] Примечания: 8

Специалист по урегулированию претензий страхователя на возмещение убытков в связи со страховым случаем.

срочных отношений ни с кем из жителей дома, и общался с ними довольно редко, на общей территории или в бассейне. Он не слишком усердно посещал и собрания собственников, довольствуясь тем, что заранее оплачивал все необходимые счета. Уже привыкшие, что он всегда в стороне, сидит тихо и не высовывается, жители дома были тем более поражены, когда обнаружили, что этот незаметный, едва знакомый им персонаж внезапно превратился в яростного и пылкого защитника — и кого? жалкого и убогого прислужника, мелкой сошки.

Когда месье Рид возвращался из командировки, иногда поздно вечером, он заходил в мою служебную квартирку, просто поболтать или выпить по стаканчику. Я знал, что ему не слишком хочется сразу подниматься к себе на шестой этаж и оказываться один на один с делом, которое он расследует, где среди прочих бумажек лежит фотография безголового трупа или раздавленного грузовиком ребенка. Так что он звонил ко мне, усаживался на диван, рассказывал мне о своей поездке, об адской суете в аэропорту, о турбулентности в полете, о жутко неудобных сиденьях авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнс», потом, немного потрепавшись обо всяких опасностях

авиатранспорта, он все-таки не удерживался и рассказывал мне о новом поручении, проводя новую экскурсию по миру горя, боли и отчаяния. Каждый раз это были какие-то неправдоподобные и жуткие истории, которые он должен был усвоить и освоить, роясь в карманах и памяти умерших. Иногда усопшие и правда лгали, обманывали, предавали, скрывали важные факты. И работа Рида заключалась в том, чтобы заставить заговорить мертвецов. Киран говорил, что ему долго было трудно свыкнуться с особенностями его профессии, но с годами он все-таки приспособился, научился жить в этом искривленном пространстве, где истина порой находилась где-то на полдороге между живыми и мертвыми, на окраинах зловещей погребальной бухгалтерии. Во всяком случае, когда *adjuster* возвращался из поездки, первые его слова, обращенные ко мне, обычно были: «Сегодня, Поль, представьте себе, я могу быть уверен лишь в одном: я никого не сделал счастливым».

Как и прежде, мне стало лучше после встречи с ним. Его приход словно примирял меня со внешним миром. Доверие, которое оказывает мне этот человек, меня успокаивает, обнадеживает, гармонизирует. Вчера мы говорили с ним об «Экс-

цельсиоре» былых времен, о том, каким он был в самом начале, — сейчас он так изменился, что мы даже не можем его узнать. С маленькими молодыми деревцами, нарождающимися рощицами, робким газоном, склонным к облысению. Сад тогда был еще ареной экспериментов, требовал внимания, заботы и большого количества воды, чтобы в нем зародилась настоящая жизнь.

— Этот сад, Поль, существует только благодаря вам. Когда я вижу мощь и величие, которое он обрел спустя тридцать лет, я, который присутствовал при его рождении, просто поражаюсь. Ваш отец ведь был пастор, да? Он вам завещал золотые руки. Но тот тип, который вас заменил, он вообще ничего не понимает в растениях. Он косит все, что должно расти, и обрезает все, что вылезает. Вот и все. Он вообще понятия не имеет о болезнях, которые поражают растения, о том, что они нуждаются в определенном кислотно-щелочном балансе, что некоторые виды надо укрывать на зиму. У него нет никакого вкуса, он обращается с вещами без почтения, неосторожно и небрежно. Он очень сильно отличается от вас. Очень. Оживляется, даже можно сказать воодушевляется, он только в определенной ситуации: когда спускается в гараж проверить уровень смазоч-

ных материалов в своем «Шевроле». Я нисколько не преувеличиваю, Поль. Этот парень действительно одержим моментом, для него почти религиозным, когда он проверяет уровни датчиков на приборной доске и удостоверяется, что все показатели на достаточном уровне. Однажды я наблюдал, как он осуществляет эту операцию, и руку на отсечение даю: он получает от этого истинное удовлетворение. И другая странность: он испытывает невероятное влечение к шинам своего автомобиля. Он проводит огромное количество времени, отчищая их щеткой, потом полируя чем-то вроде специального воска, отчего у них возникает такой забавный облик «вечернего платья», ужасно смешной. Этот тип правда обожает свои шины, я в этом совершенно не сомневаюсь. Вы можете себе представить, что я позвоню к нему в дверь, чтобы поболтать с ним, как мы это делали с вами, но только на этот раз мы будем сравнивать достоинства шин «Гудиер» «четыре сезона» и последних «Файрстоун» «специально для зимы»? Вы же понимаете, я никогда не прощу председателю собрания собственников здания того, что он выставил вас с работы. А еще меньше — что заменил вас маньяком, помешанным на смазочных материалах и резиновых камерах.

Снова слышать голос Рида, его иронический тон, такой неистребимо английский, его природоведческие комплименты, перемежающиеся со шпильками в адрес моего преемника, — все это явно пошло мне на пользу до той степени, что тюремные будни стали для меня на некоторое время вполне переносимы, холод смехотворен, а дефекационные сеансы Хортона вполне забавны и умилительны. Вот как раз только что, усевшись на насест, он произвел мощное продолжительное усилие, завершившееся успехом. Все время, пока он производил эту операцию, он пристально смотрел на меня с одновременно удивленным и смущенным выражением лица, которое часто бывает у собак, которых застали в тот момент, когда они делали свои дела.

И вот орган замолчал

Проходили годы, и мой отец, понимая буквально дух и букву своего предназначения, привязался к своим англичанам, которые, в свою очередь, приходили в церковь больше для того, чтобы поглазеть на икроножные мышцы Леблона, твистующие на педалях. Я, со своей стороны, шагнул на ступеньку вверх в профессии строителя, поскольку Пьер Дюлорье доверял мне уже маленькие самостоятельные работы, а также полную подготовку нового ученика, Боба Вудворда, который упрямо отказывался разговаривать на каком-либо языке, кроме английского. Целыми днями в воздухе летали *«fuck»* и *«chit»*, что никогда не считалось добрым предзнаменованием. Однако Бобби, как называл его патрон, несмотря на серьезные недостатки и невероятное самодовольство, почему-то пользовался относительной безнаказанностью.

В двадцать шесть лет я вынужден был признать, что к моей двери не выстроилась очередь из молодых жительниц Тетфорд-Майнс, и я компенсировал это упущение тем, что интенсивно

тринеровался в гребле на каноэ, как только открывался сезон. Я спускал лодку на воду утром и выходил на берег к вечеру, все это время я греб по лакированной глади озер Магог, Массауипи, Эйлмер и Лак Сент-Франсуа. Все они были разными, с одними им свойственными запахами, причудами носящихся над ними ветров, подводными течениями. Но во всех них была удивительная жизненная сила, первобытное ощущение счастья, которое вызывало у меня неудержимое желание добраться до противоположного берега, любой ценой попасть туда, чего бы мне это ни стоило, как бы далеко он ни был.

Пока я молился, отец проповедовал, Жерар жал на педали, асбест распространял токсичную пыль, в этой провинции происходило нечто важное, тектонический сдвиг, который готов был поколебать устои федерального государства и заморозить английское господство. Квебек запросил референдум, стремясь получить независимость, отделиться от центра в Оттаве, распрощаться с Лондоном и жить среди сородичей до конца дней своих. Квебекская партия и политик Рене Левек положили аккуратненько обернутый в подарочную упаковку и перевязанный ленточками вопрос о референдуме под федеральную

рождественскую елочку 20 декабря 1979 года, но он попал в лапы правительства Пьера Элиотта Трюдо, а тот, хоть и сам уроженец Квебека, ожесточенно противился идее развода, закамуфлированной под идею «ассоциации суверенных субъектов». В любом случае каждый отныне знал способ применения того будущего, которое он выберет, основываясь на тексте, созданном Квебекской партией с иезуитской хитростью, причем один из авторов этого текста попал, кстати, под подозрение как шпион, внедренный федеральным государством. «Правительство Квебека выносит на рассмотрение свое предложение создать совместно с остальными субъектами государства Канада новую территориальную общность, основанную на принципе равенства народов; эта общность позволит Квебеку получить эксклюзивное право самому устанавливать законы на своей территории, получать налоги и осуществлять внешнеполитические отношения, что, по сути, составляет суверенитет, но в то же самое время находится с государством Канада в экономической ассоциации, подразумевающей использование той же валюты; ни одно изменение политического статуса, явившееся следствием этих переговоров, не может быть

осуществлено без согласования с населением в ходе референдума; следовательно, доверяете ли вы правительству Квебека право вести переговоры о данной предложенной общности между Квебеком и государством Канада?»

Даже строительная фирма Дюморье отказалась бы сооружать что бы то ни было по настолько неудачному, неуклюжему плану, когда вдобавок созидатель этой словесной конструкции, демонстрируя всем свою некомпетентность, постоянно прибегал к помощи такого пунктуационного знака, как точка с запятой, свидетельствующего о растерянности и сомнениях, являющегося свидетельством нерешительного, боязливого ума, колеблющегося между тем, чтобы покончить с чем-то раз и навсегда или же продолжить фразу, чтобы проверить, куда же она нас заведет.

Во вторник, 20 мая 1980 года, после интенсивной кампании, которая дошла до того, что среди некоторых семей едва не была проведена демаркационная линия, население Квебека 2 187 991 раз бросило в урну бюллетень с надписью «Нет, спасибо», и 59,56 процента жителей отвергли идею доверить свое будущее нескольким точкам с запятой.

Поскольку мы с отцом были в статусе постоян-

ных резидентов Канады, то голосовать не могли, поэтому не приняли участие в референдуме. Зато вот для семейства Дюлорье, которые лелеяли сепаратистские замыслы, настал крах всех надежд. Весь вечер они сидели перед телевизором (кроме Вудворда, который, конечно, праздновал где-то победу федералистов с несколькими соплеменниками). В какой-то момент на экране появился Рене Левек. Заранее ли он приготовил эту фразу или она была вдохновлена гордостью, грустью и гневом его сторонников? Те, кто сидел в этот момент у экрана, не задавались таким вопросом. Когда они услышали, как этот человек говорит им: «Если я все правильно понял, вы сейчас думаете — до встречи, до следующего раза!» — они переглянулись и увидели, что глаза у всех полны слез.

Отец, использовав пять дней, которые отделяли его от следующей проповеди, написал страстный текст, в котором не было ни одной точки с запятой, явно вдохновленный обнадеживающим посланием Левека. Эта долгая речь была посвящена первоочередной роли, которую играет вера, когда человек бросается в битву жизни, в эту неостановимую, трудную и опасную охоту, которую затевают люди, чтобы добиться

благодати — здесь, в подтексте, это означало «независимости».

Мой отец и вера. Мы говорили о ней только тогда, когда он потерял ее. «Даже когда вы окажетесь повержены, когда вы будете думать, что все кончено, восстаньте и верьте, верьте, невзирая на все и вопреки всему, поскольку Всевышний вокруг вас, и это Его голос говорит вам, что обязательно будет следующий раз, и, если надо, еще один раз, и тогда, в конце концов, ваша дорога приведет вас к Дому». Ничего особенно нового, классика в чистом виде, обычная такая проповедь, но через пять дней после краткого послания Левека эта ода упрямой надежде в устах отца заставила содрогнуться его подопечных англичан, и в это воскресенье никто не стал задерживаться на паперти.

В 1980 году в шахтах еще в полную силу велась разработка, и люди бесстыдно вгрызались в пласты плейстоцена. Чтобы проникнуть дальше, выкопать колодцы еще глубже, добраться до новых залежей, предприятия прибегали к помощи динамита. Землю и стоящий на ней город регулярно сотрясали мощные взрывы. Время шло, добыча продолжалась, и котлованы подбирались все ближе к жилым кварталам и домам. Часто

случались дожди с фрагментами почвы, камнями и булыжниками, явившиеся следствием бомбардировок открытым способом, они обрушивались на соседние дома, на людей и припаркованные возле домов машины.

В конце 60-х годов произошло здесь одно событие, которое своей бесчеловечностью предвосхитило современные методы и приоритеты нового мира. Под предлогом того, что жителей хотят переместить в безопасное место, но на самом деле просто обнаружив, что под кварталом Сен-Морис проходит новая жила, которую разработчики жилились оставить нетронутой, они решили зачистить площадку. Один за другим они убирали со своего пути дома, потом гаражи, канализацию, улицы, людей, мебель, имущество, воспоминания; переносили на другой какой-то участок все это кучей, вперемешку. В итоге захватчикам остался только каркас церкви, которую слишком трудно было демонтировать, и несколько остовов административных зданий. Все это тоже было сметено с лица земли. Пустая территория была предоставлена для взрывов. И зачем? В результате многих проволочек, экспертиз, исследований разработку этого участка так никто и не начал.

Несмотря на то что он был в радиусе досягае-

мости взрывов с шахт «Белл», «Кинг», «Бивер» и «Джонсон», квартал Митчелл все-таки остался на месте какой есть и даже вроде как попривык к пыли и грохоту. Это воинственное соседство так и длилось бы до скончания времен, если бы в один прекрасный день половина крыши не обвалилась из-за гигантского хризотилового метеорита, вылезшего из центра земли. Только тогда все осознали, какой опасности они подвергаются, когда живут на линии огня, который ведут слепые снайперы с ружьями большого калибра.

Спешно организовали собрания, где было обещано как можно больше отделить дома от пунктов добычи и мест, где ведутся подземные работы. Другая предложенная символическая мера безопасности — установление сирены, дающей сигнал тревоги за четверть часа до начала применения динамита. Это начинание быстро отменили, но я имел счастье присутствовать при нескольких случаях паники, вызванной завываниями зловещего вестника смерти.

Эти кварталы, которые до того момента пребывали в состоянии беспечного равнодушия к риску, после установления и начала работы сирены вдруг необъяснимым образом стали обнаруживать признаки панического поведения.

При каждой тревоге многие сломя голову бежали домой, закрывали все двери и окна, прятали все, что можно, и явно их гораздо больше страшило нынешнее завывание апокалиптического зверя, чем прошлые взрывы без предупреждения. Отец вел себя точно так же, как и остальные жители, старался быстро навести порядок в вещах и в делах, как только загудит сигнал о наступлении конца света.

Случалось иногда, что при благоприятных погодных условиях или из-за каких-то других обстоятельств, связанных с эксплуатацией шахт, взрывы производились в воскресенье утром. Пару раз отец ходил в офисы компаний жаловаться на такую неприятную практику, бросающую тень на репутацию компании. Ему обещали изучить вопрос и разобраться. На следующие выходные взрывы загремели пуще прежнего, и вместе с ними ужасающее улюлюканье сирены. В одно из воскресений, заскочив навестить его в храм, я явился под купол перевернутого баркаса посреди его проповеди. Жерар Леблон при этом наяривал на органе импровизации из всего, что в голову пришло. Даже не нужно уточнять, что пастор говорил в тот момент о сомнении и о вере, эти две темы составляли девять десятых содержа-

ния всех его проповедей. В этот день он был в ударе, аргументировал страстно и убедительно, использовал метод кнута и пряника, играл на контрастах, то тихо выпевал хвалу, то гневно обличал заблуждения — короче говоря, плавал в словах и фразах как рыба в воде. Я помню, как в самый напряженный момент истории, касающейся духа терпимости и внимания к ближнему, он сделал долгую паузу, — казалось, что он молча смотрит на каждого из прихожан. В Тулузе я несколько раз наблюдал, как он использует этот прием для того, чтобы привлечь внимание аудитории. Когда он решил, что наступил нужный момент, произнес некое важное послание аудитории — и даже предположить не мог, чем оно отзовется: «Только в тишине камней и лесов нам иногда удается услышать божественный шепот». Потому что стоило ему произнести последнее слово этой фразы, кощунственно завыла сирена. Отец не стал продолжать, и никто так и не узнал, что же за божественные откровения были поведаны — тем более что множественное число предполагало, что их больше, чем одно, — в тот момент, когда скромному жителю Земли стало возможно их услышать. Он быстро собрал свои записи, попросил всех встать и спокойно

отправиться домой, спокойно, но побыстрее, пока мир не обрушился на их головы. Проявив недюжинное чувство юмора, маэстро за органом быстро сориентировался в ситуации и решил озвучить несколько панический исход людей из храма, исполнив всеми своими четырьмя руками My God to Thee[9], христианский гимн, который был написан поэтессой Сарой Флауэр Адамс и стал знаменит тем, что был сыгран до самой последней ноты корабельным оркестром во время крушения «Титаника». В это воскресенье, через пятнадцать мучительных минут после тревоги, раздался взрыв, и кроме нескольких камушков и кусков штукатурки, которые практически даже не поцарапали солидную обшивку папиного корабля, лишь тоненькое облачко асбестовой пыли медленно опустилось на наши головы.

Смотреть хоккейный матч в тюремных стенах — само по себе спорт, требующий специальной подготовки, если смотришь его в компании Патрика Хортона. Когда «Монреаль Канадиенс» забивают гол, он бросается на соседей и сжимает в стальных объятиях или подбрасывает в воздух. Если они пропускают мяч в свои ворота, он оби-

[9] Примечания: 9
«Ближе, Господь, к тебе».

женно пихает кулаками тех же соседей, словно они непробиваемые. Этим вечером мы смотрели матч между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мейпл Лифс»; это две вечно соперничающие команды, чьи встречи редко заканчиваются без легкой драчки клюшками и бурных переживаний при победе или поражении. В этот вечер двое игроков из «Мейпл Лифс», как мне показалось, показали опасную игру, хотя и благодаря им команда сумела выиграть матч.

— Опасную? Опасную? Да мне это, по ходу, снится. Вот не понимаю, что я вообще с тобой про хоккей разговариваю, ты же в нем ничего не понимаешь. Ну и не встревай, а? Фанеф — самый мерзкий сукин сын, которого только можно встретить на хоккейной площадке. Фанеф — это вырубной пресс, короче головорез. Против него не с клюшкой надо играть, а с бейсбольной битой или с топором. Это он всегда готов поджечь запал, сегодня все заварушки он начинал. Армстронг такой же. Они, похоже, в паре действуют. Если Фанеф не встрял, значит, этот тебя всяко заденет. Этих парней надо в вечную мерзлоту, пусть там с белыми медведями в хоккей играют, но не на площадке, не в НХЛ!

Чтобы немного снять напряжение после матча,

мы посмотрели еще документальный фильм про кельтские виды спорта — херлиг, метание бревна. Ребята бросают кто дальше огромные, пяти-семиметровые стволы весом порядка 100–110 килограммов.

— Вместо того чтобы деревья портить, лучше бы швыряли Фанефа и Армстронга.

Я помню, что довольно часто смотрел хоккей в 1969 году, в компании отца, во время Кубка мира, который проходил в Швеции и транслировался по телевизору. В Тулузе, естественно, этот вид спорта не был особенно популярен, но благодаря скандинавским корням Йохана, который не пропускал ни одного матча и все мне объяснял, я довольно быстро усвоил все основные правила игры. Тогда передавали невероятную встречу между командами Чехословакии и Советского Союза, и проходила она через несколько месяцев после вторжения советских войск в Прагу. После сногсшибательной силы матча, настоящего ледового побоища, чехи победили со счетом 4:3, но благодаря перевесу по разнице забитых и пропущенных шайб русские стали чемпионами мира. Вопреки общепринятым спортивным правилам, игроки отказались пожимать друг другу руки после матча. В момент вручения медалей, когда

играл советский гимн, чешское телевидение вырубило звук. А когда советские хоккеисты поднимались на пьедестал, исчезло и изображение.

Я решил рассказать моему собрату по несчастью эту душераздирающую историю.

— Ну что ты мне это рассказываешь? Наплевать мне на твоих руссковых в 1969 году. Тем более что я это все знаю. И вообще, какое это имеет отношение к Фанефу и Армстронгу? А откуда твой папа, я забыл? Из Дании? Ох, надо же, как попал, в самую точку. Ты знаешь, с кем сыграла свой первый официальный матч команда Дании в 1949 году? С Канадой, приятель. А знаешь ли ты, с каким результатом? 49:0. Так что хватит тут выпендриваться со своими русскими танками и всякой хренью. О'кей, в истории и политике я не петрю, это факт. Зато в хоккее я помню все матчи канадской сборной за все годы, все места, которые мы занимали, всех игроков. Давай, давай, ну спроси меня? Сколько раз чемпионы мира? Сейчас — двадцать четвертый раз. А сколько раз победили на Олимпийских играх? Семь раз, вот так. Самая результативная победа? Я говорил тебе, в матче против тех клоунов твоего старика. Самое разгромное поражение? В 1977 году, от этих советских гадов, 11:1. Лучший забивающий

во все времена? Уэйн Грецки. Ну что, понял? Хватит тебе этого? Врубился? Иди комнату свою убирай! — Он сопроводил свои слова забавным жестом, распространенным среди спортсменов, когда одна рука словно дергает за невидимую ручку сигнала тревоги, а сам человек при этом делает специфическую гримасу, закусывая нижнюю губу. — Чтобы действительно понять, что такое хоккей, надо внутри него родиться, в пять лет отморозить пятки на катке за углом, не чувствовать пальцев на руках, когда возвращаешься домой, получить по ушам, когда бросил клюшку в коридоре, уметь выигрывать и уметь проигрывать, и главное, быть готовым ринуться в бой, как только на тебе окажутся коньки. А ты уже пробовал встать на коньки?

Я не решился сказать ему правду и понял, что проще по его же просьбе приняться за уборку комнаты.

Кто мог себе представить тогда, в Тетфорд-Майнс, что ситуация повернется подобным образом, что пастор Хансен так резко и непредвиденно сойдет с пути истинного — до такой степени, что его спешно призовут в январе 1982 года на Quebec and Sherbrooke Presbytary of Monreale and Ottava Conference of the United

Church of Canada[10]? Чтобы поддержать отца в испытании, которое ему предстояло пройти (тем более что я чувствовал себя отчасти виноватым), я отвез его на эту встречу и припарковал машину неподалеку от здания, где собрание типа Небесного Суда оценит его поступки и решит его судьбу. В течение часа, пока длилось собрание, я сидел на водительском сиденье, слушал радио и спрашивал себя: как же все это могло случиться, как же Йохан умудрился всего за один год наделать столько долгов и подчистую разрушить свое будущее, свою карьеру и свой приход.

Когда я увидел отца, который шел к машине, то заметил, что он старается держаться ближе к дому, словно хочет от чего-то спрятаться. Дверца машины хлопнула, он сел, провел руками по лицу, прикрыл пальцами веки. «Я так рад, что ты поехал со мной, что ты сейчас рядом». Как часто делал на проповедях, он выдержал долгую паузу. Но на этот раз это не была ни ораторская уловка, ни артистическое кокетство, просто ему не хватало воздуха в легких, сил в сердце, последовательности в мыслях. Он повернулся ко мне. «Они дали мне шесть месяцев, чтобы возместить

[10] Примечания: 10

Пресвитерия Квебека и Шербрука на монреальской и оттавской конференции объединенной церкви Канады (*англ.*).

все, что я им должен, привести в порядок все церковные счета и вернуть ключи. Если по истечении этой отсрочки я ничего не сделаю, они подадут жалобу. — Он беспомощно поднял руки, повернув ладони к небу: — Они сделали для меня все, что смогли».

Все началось, я думаю, за год до этого, в начале зимы 1981 года. После того как выпал снег, холодом сковало дороги, и дни стали уменьшаться так стремительно, словно их торопили и подгоняли. Во время этого сезонного преображения и в нас тоже что-то менялось, необъяснимая усталость поселялась в душе, а вместе с ней какая-то смутная печаль. На меня сильно влияли эти изменения. Чтобы как-то нарушить этот унылый будничный ритм, я предложил отцу съездить в Квебек и провести вечерок в Центральном дворце, на ипподроме, где проходил целый ряд соревнований на беговых качалках. Если смотреть с улицы, главные трибуны, две высокие башни, центральная аркада, симметричная архитектура — все это до странности напоминало мне арену для корриды на севере Испании. Внутри все было несколько более обыденно, кольцо семьдесят футов в диаметре, основание из песка, покрытого сверху глиной, а сверху глины — гаревые

дорожки, арена открыта практически круглый год: чтобы не терять игроков, администрация установила на трибунах отопление. В этот день ожидалось семь забегов.

Мне не пришлось потратить много сил, чтобы уговорить отца поехать со мной на это мероприятие. Хотя он за некоторое время до этого запретил себе служить двум хозяевам, он тем не менее решил на время отдохнуть от одного и, на время одной поездки, замутить со вторым. На каждом из забегов, в зависимости от цвета фуражки или куртки наездника, элегантности повозки, упряжи лошади, в которой он совершенно ничего не понимал, Йохан выбирал фаворита, спускался с таким видом, словно от этого зависела вся его жизнь, в зал, где принимаются ставки, доставал свои доллары и ставил на гривастого незнакомца, сомнительных беговых достоинств, с таким пылом и энтузиазмом, что никто бы ни на секунду не предположил, что этот человек сейчас переживает кризис веры в себя и в Бога. Затем, перемахивая через две ступеньки, он взлетал наверх и вновь занимал свое место на трибуне. Приходится поверить, что в эту ночь Небеса закрыли глаза на его неверность, поскольку по общей сумме забегов результат отца был

ошеломителен. Четыре лошади выиграли, две пришли в числе первых, одна сошла с забега за неровный ход.

Богатый и похорошевший от счастья мужчина, которому наконец улыбнулась удача, потому что ей пришлось наконец сделать это, — вот кого я отвозил назад в Тетфорд-Майнс на своей маленькой «Хонде». Четыреста или пятьсот долларов выручки, ипподромная лихорадка, запахи пива и сигар, крики с трибун, холод на улице, яркие огни и отопление внутри, неуверенность до последней секунды, невероятная игра случая — всего этого хватило, чтобы пастор ясно осознал, что беговая арена Центрального дворца расстилает перед ним поле неисчислимых возможностей, которые Библия даже не пытается приоткрыть.

На следующей неделе, в тот же день и в тот же час, на том же месте те же бега. На этот раз уже Йохан настоял, чтобы мы отправились туда. В дороге он говорил мне, что ему очень понравился первый опыт, который показался ему очень «волнующим». Нечасто я слышал подобное определение из уст моего отца. Я заметил большой кожаный футляр, который висел у него на шее. «Это бинокль. Чтобы лучше видеть, что происходит на арене. Я видел, что такие были у всех

зрителей, ну или почти у всех». И напоследок меня еще удивило, что отец на площадке перед ипподромом, напоминающим паперть у храма, достал из кармана клетчатую кепку и старательно водрузил себе на голову, словно этот аксессуар символизировал начало новой жизни.

В новом облачении, которое ему не то чтобы совсем не шло, Йохан возобновил свой договор с богами бегов, которые снова помогли ему, причем успех превосходил все его ожидания. Во время последнего забега, уперев глаза в бинокль, он уже привычно покрикивал, когда его фаворит вышел на финишную прямую. И когда он приближался к финишу, он согрешил первый раз, проорав: «Давай, бля! Давай!» В машине, когда мы ехали назад, он признался мне: что бы ни говорили по этому поводу, игрок на бегах — превосходнейшее ремесло. Садишься, ставишь, выигрываешь, уезжаешь. Он, казалось, даже не мог предположить, что у этого занятия есть какие-то риски — проиграть, например. Само существование такой возможности, что его оставит «фарт», он даже не мог предположить. Я понял в тот вечер, что дьявол незаметно просунул ногу в приоткрытую дверь. Но я не мог предположить, что вскоре Йохан распахнет ее нараспашку.

Конец зимнего сезона отец не вылезал из Центрального дворца — единственного ипподрома Квебека, который мог функционировать в холода. Насколько я знаю, он не пропускал ни одних состязаний и в большинстве из них выигрывал, несмотря на то, что некоторые отдельные поражения тоже случались и не слишком хорошо отразились на его приходно-расходной бухгалтерии. Но это слово я употребил зря, потому что точно знаю, что в тот момент отец не вел совершенно никакой бухгалтерии. Все потому, что он принадлежал к той роковой разновидности игроков, которые запоминают только свои выигрыши, а проигрыши забывают в тот же миг, как удается отыграться. Пока у него в карманах водились деньги, эта система более или менее функционировала.

Весной отец перестал ездить в Квебек, предпочтя беговую арену Труа-Ривьер, огромный ипподром профессионального уровня, построенный в 1830 году, на котором в самом начале люди соревновались в беге с лошадьми. Потом стали проходить скачки, бега, бега с качалкой, бега с препятствиями, на которых выступали лучшие чистокровные кони из Канады и Соединенных Штатов. Общества, организующие мероприя-

тия, назывались «Three Rivers Turf Club», чтобы польстить англичанам, и «Беговой клуб Сен-Морис» — чтобы польстить французам. С момента своего создания до наших дней этот ипподром знавал тяжелые времена, в частности три ужасных пожара, которые уничтожили конюшни. В двух последних погибло 174 лошади, запертые в стойлах. Отец, изучив документацию по новому месту своей погибели, гордился тем фактом, что король Англии Вильгельм IV приезжал сюда в 1936 году, чтобы предложить солидное вознаграждение в пятнадцать гиней победителю скачек. Может быть, перспектива совершения таких безвозмездных деяний придала пастору новую веру в верховых лошадей, напичканных до мозга костей всякими трамадонами, кодеинами, кетопрофенами, кленбутеролами и станозолами. Йохан символическим жестом отбросил пачку рецептов на обезболивающие, заявив, что подобные практики при нынешнем уровне контроля и системе анализов маловероятны. За несколько месяцев отец стал подобен карикатуре, изображающей игрока на бегах, с биноклем на груди, кепкой-шестиклинкой, информацией из первых рук, которую, очевидно, он добыл, не выходя из своего дома при храме, и слепая вера в неизъ-

яснимую интуицию, долгое время служившая путеводной звездой всей Объединенной Церкви Канады.

Так же как в Квебеке, Йохан Хансен начал с того, что распотрошил кассу ипподрома: весной все лошади, на которых он ставил, либо выигрывали, либо приходили в первой тройке. За рекордное время он выучил имена всех жокеев и наездников, клички лошадей, изучил сведения о репутации владельцев лошадей, познакомился со всеми кассирами. Поскольку он часто бродил вокруг загонов у манежа, вокруг беговой арены и возле столиков посетителей, многие начали узнавать его и спрашивать совета у «месье Йохана». Но в начале лета счастливая звезда месье Йохана принялась клониться к закату. И рысью, и галопом, и с повозками, фавориты пронеслись мимо него, к новому везунчику, абсолютно заурядному типу, который ничего не знал о бегах и скачках, даже кепку и бинокль еще не купил, просто сидел где-то на трибунах со своим сыном, который невзначай пригласил его прогуляться по хорошей погоде и заглянуть после обеда на ипподром.

Карманы пастора начали стремительно опустошаться. Подобно насосу, беспрерывно качающему

воду, поражения выкачивали из него денежные средства. Редкие выигрыши или хотя бы ставки на лошадей, пришедших в первой тройке (в последовательности один выигрыш на три проигрыша), не могли остановить процесс распада.

В церкви, целиком погруженный в мысли о гаревых дорожках, пастор читал написанные кое-как проповеди, не следил за состоянием церковных дел, опаздывал на службы, забывал о назначенных встречах и все меньше и меньше обращал внимание на музыку Жерара, который прекрасно видел, что что-то идет не так. Он решил поговорить со мной по душам. Я вынужден был ему признаться. Так и так, отец по мановению волшебной палочки превратился в помешанного на лошадях завсегдатая ипподрома, завзятого игрока, для которого деньги, лишенные какой бы то ни было реальной ценности, стали исключительно средством доступа к адреналиновому вливанию, доступному исключительно «в те несколько секунд, когда лошадь подбегает к финишной черте».

Вера в Бога улетела в неизвестном направлении. Ее заменило другое чувство. У отца была необходимость во что-то верить.

Вспоминаю, что когда я объяснил все это Жера-

ру, он внимательно посмотрел на меня и сказал довольно странную вещь: «Как по мне, уж лучше это. Я боялся, что тут замешана женщина».

Женщина еще не появилась, но, хотя никто еще в тот момент об этом не догадывался, она брела в нашу сторону по запутанным трубопроводам судьбы.

Отца очень любила паства. Он проявлял к ним внимание, сочувствие и уважение, поддерживал их во всех начинаниях, помогал сделать правильный выбор в работе или учебе, не пытаясь сковывать жестким корсетом суровой морали. Он, по сути дела, был полной противоположностью католическим священникам в этой местности. Их доктрина до начала пятидесятых годов была такова: всемерно плодитесь и размножайтесь, чтобы противостоять полчищам англичан, остановить их натиск, усилить воинство Рима и ослабить влияние легиона антипапистских дьяволов — протестантов. Подобно коммивояжерам, тогдашние католические пастыри приходили в дома прихожан, чтобы благословить жилище и провести душеспасительные беседы с матерями, направляя их на продолжение рода, призывая забыть о телесном изнеможении и неустанно совокупляться в чистоте и святости, не зная сна

и отдыха, ночью и днем, если понадобится, но только при условии, что от этого в конце концов последует нужный результат. В семьях частенько рождалось по двенадцать детей. Женщины в слезах выходили из исповедален, где их отчитывали и клеймили как нерадивых христианок за то, что они произвели на свет всего семерых детей за целых тринадцать лет брака. Придя домой, они, во искупление своих злодеяний, упрашивали мужей, чтобы те вновь принялись за дело, да побыстрее. Поскольку Всевышний ждал, да и Церковь его уже беспокоилась. Обычай требовал еще и чтобы один мальчик из народившегося потомства пополнил ряды духовенства, нуждающегося в приливе свежих сил. Такая церковная дань — дитя, предназначенное Богу.

В противовес всем этим издевательствам, которые еще остались в коллективной памяти женщин, детям, которых распятием подгоняли к появлению на свет, преждевременно постаревшим телам и морщинистым лицам, прихожанки не могли не любить такого пастора, как Йохан Хансен, — доброжелательного, терпимого и в довершение всего уже некоторое время живущего с кавалькадой маленьких лошадок, которые кружат в его голове.

В конце лета падение стало уже головокружительным и проигрыши в Труа-Ривьер увеличивались каждую неделю. Пастора затянуло в круговорот поражений, эту черную дыру, которая непреодолимо и неизбежно поглощает всех, кто слишком много потерял, чтобы отказаться от идеи отыграться, кто твердо уверен, что в конце концов призовые лошади — и с ними удача — вновь вернутся в нужное место, то есть к нему. Роковой эликсир, коктейль катастрофы.

В начале сентября отец признался мне, что испытывает трудности, и объяснил, что собирается оформить займ в «Креди Дежарден», чтобы вернуть суммы, которые он уже снял с бюджета, выделенного на функционирование церкви и прихода. Об одном он умолчал: что размер кредита гораздо больше, чем сумма его долга. И эту весьма существенную разницу он намеревался употребить для того, чтобы прийти в чувство, пожертвовать некоторую сумму в храм, вернуть часть в банк, отмыться от своего греха и вновь начать карьеру скромного датского пастора без бинокля, без кепки, без трибун и без трамадола.

В некоторой степени можно согласиться: отец выполнил половину обязательств. С той самой секунды, как он получил чек, ноги его больше

никогда не было на ипподроме, и он вернул в церковную кассу все, что он оттуда взял, до единого сантима. В течение одного дня Йохан Хансен вернул свой долг, отмылся от тяжкой вины и превратился в одного из многих должников по кредиту в одном из 422 агентств солидного банковского учреждения, основанного в 1900 году Альфонсом Дежарденом и получающего больше миллиарда долларов прибыли в день.

Может быть, опьяняющее могущество этих цифр дало Йохану ощущение, что для него вновь настал час, когда он может примкнуть к клану победителей, восстановить финансовый баланс, обойтись без нависшей неизбежности процентов. Для этого нужно было только запустить руку в свой карман, попухлевший за счет займа.

Как-то раз он надел свой серый костюм, запер дверь в своем доме при церкви, сел в свой «Форд Бронко» и долго ехал по усыпанной осенними листьями дороге, пока не увидел сверкающие в ночи огни домов Монреаля, выделяющих в воздух, как бывает обычно зимой, легкий дымок своего дыхания. Нет, Йохан Хансен обещал Всевышнему не ходить на бега и сдержал свою клятву, вместо этого он повернул по автотрассе Бонавентура, повернул направо к острову Нотр-

Дам, где обнаружил скромное индустриального вида здание. Его огни отражались в речной воде, и оно, казалось, ожидало лично его, скромного пастора церкви, построенной из асбеста, в городке Тетфорд-Майнс. В прежние времена это был склад какой-то торговой компании. Бывший торговый дом, ставший игорным домом, находился в нескольких сотнях метров от места, где потом, спустя несколько десятков лет, в зданиях французского и квебекского павильонов, построенных в ходе всемирной выставки «Экспо-67» в 1967 году, было открыто огромное казино города Монреаль.

Зал «Манимейкер», надо сказать, был лишен каких бы то ни было блеска и роскоши. Один игрок на бегах из Труа-Ривьер тем не менее посоветовал отцу это логово порока. Он рассказывал, что за один вечер выиграл там в кости сумму, на которую можно было купить автомобиль класса люкс «Мерккьюри Маркиз».

В этом игорном доме было столов пятнадцать, где можно сыграть в рулетку, блек-джек и кости, ряд игральных автоматов и еще в отдельном маленьком зальчике собирались игроки в покер. Сто пятьдесят — двести посетителей, ремонт своими силами, обстановка в стиле с миру по нитке,

подержанная мебель, крупье на вечер по найму, слишком яркий свет, вонючий дым ест глаза: все, что надо, все на месте, не хватает только пастора из Тетфорд-Майнс, маловерного датчанина, по такому случаю нарядившегося в темный костюм, который он обычно надевал исключительно на церемонии погребения.

Крестный путь проходил в два этапа, через две неизбежные, вполне предсказуемые и описанные во всех учебниках по выживанию перевалочные станции. Сперва он был обласкан успехом, коммерческий комплимент, трехкратный выигрыш в рулетку, эдакая дружеская поддержка, вызывающая доверие. Потом вторая скромная победа, полученная вроде как случайно, по недосмотру, но которая помогала отцу чувствовать себя все лучше и лучше в своем похоронном костюме. На это реабилитационное мероприятие отец, проявив странную беспечность, прихватил с собой бóльшую часть суммы, полученной по кредиту. Сумма была солидная. Менее чем за два чудовищных часа точная механика проигрыша втянула в себя и прокрутила, как в мясорубке, все до последнего гроша, все иллюзорное богатство. Кубики костей раздавили отца в лепешку. Бросок за броском, они ложились не той стороной, пре-

вращая развлечение в казнь, и в результате все отцовы доллары утекли, как в сливное отверстие. В конце концов, вместо того чтобы вернуться с автомобилем класса люкс «Мерккьюри Маркиз», он наконец решился уйти со сцены и на своем стареньком «Форде» отправиться домой, раздавленный, потерянный, не имея сил справиться с царящей в голове сумятицей, едва умудряясь как-то вести машину и следить за дорогой.

По логике вещей следовало, что эта поездка не должна иметь продолжения, что отец будет сидеть в своем домике при церкви, переживать вновь и вновь совершенные ошибки и, приняв будущее таким, как есть, окормлять англичан, мыть старенький автомобиль, сметать с поверхностей асбестовую пыль и главное — никогда больше не появляться ни в игровых павильонах, ни на трибунах ипподромов.

На следующий день после сокрушительного поражения, после страданий долгой ночной дороги и круговорота безумных и противоречивых мыслей в голове, отец припарковал свой «Форд» возле голубоватой вывески со лживой надписью «Moneymaker». Терзаясь бессонницей, этим неприятным следствием недостатка гормона мелатонина, он прокручивал в голове

все возможные варианты. Под утро его осенило: нужно попытать счастья еще раз. Это, конечно, рискованное предприятие, но он был уверен, что рассчитал все возможности, и соотношение «риск — капитал» в его пользу. Ясное дело, этот план базировался на пустом месте, лишь только на одном самоубеждении, не будь которого, казино давно бы уже исчезли с лица земли.

Суеверный, как все игроки, он оставил похоронный костюм дома, а сам облачился во что-то менее консервативное, во что-то, во что он был одет в светлую пору выигрышей на скачках и бегах.

Чтобы материально обеспечить свой план, он обшарил все тайники и заначки в храме. Я имею в виду, что он второй раз выгреб весь бюджет, предназначавшийся на жизнь прихода, весь до единой копейки.

Охваченный стратегическими химерами, отец придумал тактику, которая обратила бы в бегство любого игрока, у которого еще остались проблески разума: разделить все деньги на четыре равные части и поставить каждую часть на четыре разных стола, каждый раз выбирая красное или черное, исключая все другие комбинации.

Либо он удвоил бы свои средства, либо все про-

играл бы. Он решил рискнуть всем, довериться слепому случаю. Пан или пропал. Даже если в его ситуации пропасть было легче легкого…

В 23 часа 10 минут он поставил первую четверть своих денег на красное, и выпавшее черное сразу омрачило его перспективу удачного начала. Он прошелся по залу. Десять минут спустя он повторил свою первоначальную ставку на красное. Шарик покрутился-покрутился по кругу и, как раненая птица, остановился на поле 29, может быть самом черном из всех черных полей. «Странное дело, я совсем не испугался и при этом даже не усомнился в своем плане. Я был глубоко убежден, что все это дерьмо скоро кончится, что иначе просто быть не может, что вся эта череда неудач в конце концов перейдет на кого-нибудь другого и оставит меня в покое, что я скоро выпутаюсь из этих неприятностей, в последний момент все изменится, как у меня уже случалось в Труа-Ривьер, в последнем забеге последней гонки».

Как всегда, создавалось впечатление, что крупье действительно удивлен размером ставки и бессмысленным упорством, с которым игрок отвергал все представляющиеся разнообразные возможности ставки, чтобы сконцентрироваться на одной и той же бинарной оппозиции.

В 23.30 опять было выбрано красное и опять выпало черное.

Отец уже выскочил на финишную прямую. Он был абсолютно уверен, что обладает достаточными ресурсами, чтобы обогнать лидирующую группу и вырваться вперед на финише, подобно Зимнему Вихрю во время последнего летнего забега. Накачанный под завязку всякими веществами, законными и незаконными, конь догнал остальных и постепенно опередил их, кого на корпус, кого на голову, и белые хлопья пены летели с его морды, как дым от огня его порыва. И он тащил свою качалку так, как всегда привык это делать, не особо обращая внимания на сидящего в ней человека в казаках, который болтался на каждом ухабе, едва не выпадая на дорожку, да и двуколка была, казалось, готова вот-вот развалиться. Наездник кричал и подстегивал коня, не осознавая бессмысленности своих действий, поскольку сама лошадь прекрасно знала, что ей нужно делать: обогнать их всех, одного за другим, и с гордо поднятой головой — так, чтобы хорошо получилось на фотографии — влететь на финиш.

Все, что мой отец знал о Зимнем Вихре, не смогло спасти его в ту роковую ночь. Примерно в 23 часа 45 минут все было кончено. Ничего, абсо-

лютно ничего из того, что он запланировал, не получилось. Никакого отыгрыша не получилось, никакого чудесного преображения. На фотографии, сделанной на финише, можно увидеть лишь пастора, робко делающего ставку на красное, и руку Божественного провидения, сдвигающую шарик на черное поле.

В ту секунду, когда рулетка перестала вращаться, отец превратился в маленького воришку-датчанина, постоянного резидента, ставшего канадскому государству обузой, которого скоро вызовут для отчета и вычеркнут из списков служащих местной епархии, а вдобавок его начнет преследовать банк за неуплату по кредиту, и, скорей всего, вскоре ему придется нести ответственность перед законом.

«Я вспоминаю одну странную вещь. Когда я отошел от игорного стола, какая-то очень красивая женщина подошла ко мне и взяла за руку. Мы прошлись по залу. Я был в шоке от всего случившегося и, не в состоянии осознать свой крах, словно плавал в чужом, незнакомом мне мире. Эта женщина заговорила со мной, спросила, как меня зовут и чем я в жизни занимаюсь. Я ответил ей, что меня зовут Йохан Хансен и я протестантский пастор в Тетфорд-Майнс. Тогда

она охватила ладонями мое лицо, посмотрела на меня так, словно я был ребенком-сиротой, и крепко, неспешно поцеловала в губы. Я стоял неподвижно, опустив руки и широко раскрыв глаза, а она вслед за тем слегка отстранилась от меня и произнесла: “Пусть Бог, если он видит вас сейчас, благословит вас”. А после этого, можешь быть уверен, я не помню абсолютно ничего, ни как я вышел из “Манимейкера”, ни как сел в машину и добрался до дома».

Все последующие дни отец, на которого обрушилась череда драматических последствий проигрыша в Монреале на острове Нотр-Дам, из всего этого рокового вечера помнил только появление таинственной дамы, которое преследовало его во сне и наяву во время той бесконечной ночи, сквозь которую ему предстояло брести.

Шести месяцев, которые дали его пэры на возмещение убытка, было, конечно, недостаточно, тем более что «Креди Дежарден» в жизни не дал бы ему больше ни одного доллара. И поскольку он категорически отказывался от любых попыток попросить помощи у Хансенов из Скагена, отец решил, что ему ничего не остается, кроме как сесть в свою лодку и ждать, когда ее поглотят воды океана.

На протяжении нескольких недель я перевернул всю землю и полнеба вверх дном в поисках подходящего выхода из этой ситуации. Я подсчитал все свои сбережения, нашел возможность взять кредит, надеясь, что это как-то поможет удержать Йохана на плаву. Но увы, течь была слишком мощной, и мои жалкие клинья не могли заткнуть все бреши в обшивке.

Я обещал отцу никогда никому не раскрывать размер его долга, могу только сказать, что он явно был не по средствам простому пастору в маленьком городке, он был практически несовместим с его образом жизни.

Через два месяца после грехопадения Йохан продолжал служить в своем храме: Жерар, Хаммонд-орган, внимательные англичане на скамейках светлого дерева. С того момента как он понял, что приговорен и обречен, пастор стал писать тексты, подобных которым никто никогда здесь не слыхивал. Его проповеди даже выходили за рамки церковных представлений, они охватывали все опасности нашего существования, отправляя нас на подобающее место в этом бурлящем борделе, где-то на одном уровне с лиственницей или же тапиром, обитателями той же ячейки, обеспокоенных будущим, пытаю-

щихся верить в благоволение богов, невзирая на голос инстинкта, нашептывающий совершенно противоположное.

Впервые за долгие годы (раньше это было только в раннем детстве) я стал регулярно заходить в церковь, чтобы послушать отца и, должен признать, чтобы оценить растущий скептицизм англичан-консерваторов, растерянных и обескураженных, шокированных его свободными речами.

После таинственной встречи с дамой в Монреале и перед грядущей отставкой пастор чувствовал себя свободным, не связанным никакими обязательствами с Церковью и с Богом, Который его, если можно так выразиться, оставил в самый неподходящий момент: на финишной прямой. Он полностью дал волю своему красноречию, презрев условности и границы, рассуждал о деревьях, о людях, о зверях, рассказывал о жизни рыбаков в Ютландии, о подводных течениях, с которыми приходится бороться и они уносят порой много человеческих жизней, о рыбах, разных рыбах, чьи трупы выбрасывает на берег, к колокольне занесенного песком храма. Создавалось впечатление, что человек бросился с вершины небоскреба и летит, а мы стоим вокруг и перед

нами предстают виде́ния, которые возникают у него при падении. Самое удивительное, что в большинстве случаев эти его истории увлекали прихожан за ним, в его мир. Все слушали как завороженные и были в восхищении — кроме, очевидно, этих мерзких пуританских англичан.

Его проповедь 14 марта 1982 года была такой же волшебной и воздушной, как и предыдущие. Представитель монреальского церковного сообщества в ходе расследования дела о лишении сана (которого при этом, конечно же, информировала путем доноса британская фракция клуба борьбы с ересями города Тетфорд-Майнс) явился в храм, чтобы лично удостовериться в масштабах отклонения от основной линии протестантской церкви. Он ушел потрясенным: во-первых, тем, что он услышал, во-вторых, теми событиями, при которых он после этого присутствовал.

В это воскресенье проповедь касалась тех проблем и хлопот, которые семьи передают из поколения в поколение, обо всех этих историях, не слишком нам известных, но о существовании которых мы должны отдавать себе отчет, так сказать, «подтвердить получение», которые мы потом несем всю жизнь, добавляя к ним собственные беды и неприятности ровно до того момента,

когда мы можем передать их следующему в роду. И все это звенело и отдавалось в смуте и хаосе отцовских треволнений, и чувствовалось, что они способны обелить и очистить все, ну правда, все-все счета.

«Наконец уже я хочу сказать вам все это. Потому что, несомненно, это одна из последних возможностей вот так поговорить с вами. Я оказался в Тетфорд-Майнс потому, что там, откуда я приехал, со мной больше не захотели иметь дела. И из этого города я уеду ровно по той же причине. Два раза подряд я оступился. Два раза подряд меня изгнали. Вскоре, несомненно, вы узнаете обо мне не самые приятные вещи. Все это будет правдой. И в очередной раз мне будет нечего сказать в свою защиту. Но знайте, что все годы, проведенные здесь, я был преданным и честным работником. Даже если сейчас эти эпитеты могут показаться несколько странными. Даже учитывая, что вера давно покинула меня. Даже учитывая, что молиться для меня стало делом совершенно невозможным. Вскоре у вас будет сколько угодно времени и возможностей осудить меня и вынести мне приговор. И я прошу вас держать в голове одну простую фразу, которую услышал от своего отца и которую он употреблял,

чтобы не судить слишком строго виноватого: “Не все люди живут одинаково”. Да благословит вас Бог — если Он вас видит».

Колени пастора подогнулись, он судорожно вцепился в кафедру, чтобы не упасть. Жерар, верный соратник, тотчас же заиграл прелюдию, которую они специально заранее выбрали с отцом, и колонка Лесли пошла рассыпать волшебные звуки над всеми алчущими и жаждущими правды.

Йохан поглядел в зал, словно высматривал там лицо друга в незнакомой толпе. Он открыл рот, словно хотел нам еще что-то сказать, словно у него готова была вырваться еще одна стайка слов, а потом его руки скользнули по поверхности мира, ноги ослабли и он рухнул наземь.

Все в церкви удивленно вдохнули, как один человек. Жерар Леблон отшвырнул ноты и кинулся к другу. Орган замолк.

Монреаль, Квебек

Пастор из Тетфорд-Майнс уехал из Тетфорд-Майнс по автомагистрали — на катафалке. Его привезли в аэропорт Дорваль, положили в герметично закрытый гроб и отправили на борту самолета компании Swissair в Копенгаген, транзитом через Женеву. В Дании другой фургон ритуальных служб отвез его в Скаген, где, в присутствии всех родственников, с биноклем на шее и в кепке-шестиклинке, которую я водрузил ему на голову, он исчез под землей — погрузился в песок здешнего кладбища, насыпанный совместной работой разных ветров.

Мать, которую я известил о смерти отца, тоже приехала на похороны. Элегантную соломенную вдову в семье тем не менее приняли так же, как в лучшие времена. Когда гроб с телом Йохана исчез под землей под звон старинных колоколов, она достала бумажный платочек и вытерла совершенно сухой краешек глаза. Потом она взяла меня за плечо, при этом соблюдая дистанцию, держа себя по-прежнему так же отстраненно, как уже давно было у нас заведено. Словно я увиделся

с двоюродной тетушкой на похоронах общего старого друга. Больше не было папы, больше не было мамы, и ребенка тоже не было — были два взрослых человека, которые прохаживались между могил, беседуя о смерти третьего, который когда-то был им близко знаком; так же говорят о неизбежных посторонних потерях быстротекущей жизни.

Ни моя мать, ни семейство Хансен так никогда и не узнали, что творилось в последние годы жизни Йохана. Не было никакого смысла рассказывать им об этом. Одна улетит в свою Женеву, другие вернутся к своей рыбе, а лично я собирался устремиться к тому, что казалось мне второй новой жизнью.

По настоянию руководства протестантской церковью в Монреале в память пастора Хансена не было организовано никакой службы, никакой траурной церемонии. И банки, и храмы подвели последнюю жирную черту под пасторскими счетами, а англичане временно стали ездить в другую церковь в ожидании, когда будет назначен другой служитель культа. Что касается Жерара, из любви к своему инструменту и в память об отце он выкупил у епархии, которая не заставила себя упрашивать, орган «Хаммонд B3», со всеми

клавиатурами и колонкой Лесли, которая, может быть, и поныне оглашает Шербрук и окрестности дивными аккордами, выпуская в небо россыпи септим и нон. В течение нескольких лет мы с Жераром (я уже жил тогда в Монреале) регулярно перезванивались, рассказывали друг другу о том, как у каждого из нас складывается жизнь. Он поведал мне, что новый пастор, назначенный на место Йохана, привлек в храм только кучку прежних прихожан, которые в любом случае, по его выражению, «не сдвинулись бы с места, даже если перед ними бобра поставь проповедовать». Несколько лет спустя Жерар позвонил мне часов в 11 вечера, так как сгорал от нетерпения поведать потрясающую новость. Протестантская церковь в Тетфорд-Майнс была закрыта годом раньше вследствие массового исхода англичан, потом выставлена агентством недвижимости на продажу, то есть ее постигла та же судьба, что и мамин кинотеатр, и довольно быстро ее купили и переделали в жилой дом. «Видел бы это твой отец — уж поверь, он тогда не стал бы сожалеть обо всех этих днях, проведенных на скачках! Я на днях съезжу туда, прогуляюсь вокруг. Расскажу тебе потом, во что это превратилось». С тех пор Жерар пропал, не звонил и не отвечал

на звонки, я примерно догадываюсь почему… И в Тетфорд-Майнс я больше никогда не ездил. Надеюсь только, что новые жильцы сохранили купол и контуры их нового корабля, те своды, где в былые времена эхом отдавались речи отца.

После смерти пастора я уволился от Дюлорье. Он организовал по этому поводу прощальную вечеринку. На ней Пьер, словно сумев заглянуть в будущее, подарил мне коробку с набором инструментов, где были всякие штучки, милые сердцу мастера, и несколько необходимых электроприборов, чтобы пилить, стругать, шлифовать, сверлить и прочее. «Не знаю, что с тобой будет дальше, но с помощью всего этого и опыта работы с нами ты всегда заработаешь себе на кусок хлеба. Удачи тебе, сынок». Меня уже давно никто не называл «сынок». Я запихал коробку и мои скудные пожитки в маленькую «Хонду Сивик», легкую как перышко, и поехал прочь из города, вперед и прямо, куда глаза глядят, в направлении города Монреаль.

В тюрьме мы редко откровенничаем и мало рассказываем о своих семьях. Патрик несколько раз кратко что-то упоминал о своих родственниках, но я ясно понял, что вспоминать о годах юности, проведенных с ними под одной крышей, ему не

очень-то приятно. Я, со своей стороны, тоже не слишком много ему поведал. Про мать я сказал только, что это была весьма современная дама, активная и решительная, и при этом женщина выдающейся красоты.

— Слушай, чувак, это ж твоя мать все-таки. Так о матери не говорят, мутотень какая-то, бля. «Выдающейся красоты», надо же так! Как будто ты говоришь о какой-нибудь барменше из Лаваля. Когда ты так говоришь, ты даже не можешь себе представить, какая картинка возникает в голове у того, кто тебя слушает. Даже не буду рассказывать. Нет, чувак, мать это просто мать, и точка.

В другой раз я по какому-то поводу упомянул о датских корнях отца и о том, что он до самой смерти был пастором. Эта ошибка мне дорого обошлась. Патрик разразился целой лекцией.

— Бля, а ты, выходит, сын пастора? Вот это круть! Ну странно же ведь, нет? И что твой старик целыми днями делал, ведь месса и всякая такая ерунда только по воскресеньям? Ох, представляю, если бы я был сыном какого-нибудь кюре или чего-то в этом роде, нет, очень странно. И пастор твой при этом жил с «выдающейся красотой»? Ну это уже мутотень полная, чувак. Я знаю, что пасторы имеют право на это дело, но, бля, с

такой вот твоей матерью, как ты ее описывал, это как-то даже возбуждает. Мне жаль, но мы, католики, к такому не приучены. У нас никто ни с кем не трахается. Кюре у нас ни на что право не имеют. Даже подрочить не могут разок, если приспичит. Ну официально, само собой. Так что твоя история про папу, который делал свое дело с «выдающейся» мамой, а потом шел в церковь проповедь читать, — извини, но для меня это ух какая порнуха.

На этом мы закончили разговор, и семейные истории, а также разногласия католиков с гугенотами навсегда были исключены из круга тем, достойных обсуждения.

Сегодня Патрик выглядел каким-то нервным. Он получил от своей невыдающейся мамы письмо, в котором она предупреждала его, что сегодня после обеда придет в переговорную на свидание. По этому поводу он тщательно побрился и отыскал не слишком мятую одежду, — а это большая редкость в такой крохотной камере, которую занимают два с половиной человека. Я увидел еще, что он тщательно пытается причесаться — на моей памяти это первый раз, когда у него в руках была щетка для волос. Он напоминал совсем юного парнишку, который собирается

на первое свидание. Очень сильно нервничал. Ждать встречи начал ровно с того момента, как получил письмо. Патрик внезапно вновь превратился в сына преподавателя, который любит чужих детей, в сына его жены, которую он не видел так давно, в мальчишку, которому страшно влетит, если он бросит клюшку в прихожей. Он как-то неосознанно чувствовал, что мать любила его, хотя никак эту любовь не выказывала. А иначе зачем она потащилась бы сюда, в такую даль, в эту позорную тюрьму, в эту заплеванную переговорную? Конечно, она любила его, даже когда он хулиганил и преподаватель порол его в комнате. А что она его не защищала, так не за что было его защищать, да и муж все равно бы ее не послушал. Она втайне ожидала, когда он уйдет, чтобы начать жить, чтобы обнять каждого из своих детей и попросить у них прощения.

— Слушай, подходит эта коричневая рубашка к голубым джинсам или лучше серую надеть? Сижу тут уже столько времени, что совсем одеваться разучился.

Он заколебался, держа в руках обе рубашки. Видимо, представлял себе, что будет думать об этом мама. Будет ли она судить по его внешнему виду или примет его таким, каков он есть,

никчемным и неистовым, но при этом плоть от плоти ее, сделанным на скорую руку с помощью преподавательской спермы в один такой вечер, когда ему вдруг взбрело в голову вспомнить о жене. Патрик был невероятно трогателен в своем порыве. Надеюсь, она будет с ним добра.

Когда я обосновался в Монреале, параллельно произошло другое важное событие: церемония присуждения мне канадского гражданства. Я ждал почти пять лет, чтобы получить его. Около ста человек из разных стран мира собрались в отведенном для этих целей зале, в котором помимо них находилось: два канадских флага, представитель полиции в парадной форме, председательствующая дама в деловом костюме, секретарь с золотой цепью на шее. Вручение сертификата каждому из приглашенных сопровождалось напутственными словами: «Добро пожаловать в дружную канадскую семью». После этого все встали и пропели «О Канада» — национальный гимн, сочиненный по мотивам стихотворения лейтенанта-губернатора Теодора Робитая, которое положил на музыку Гийом Уэлле.

Я прогулялся по парку Жан-Манс, по улице Сент-Урбен, вышел на площадь Искусств, заказал шоколад в «Кафе 87», ничто вроде бы не

изменилось — только вот я стал канадским гражданином. С новым документом в кармане я теперь мог гордиться тем, что являюсь франкоканадцем, сыном датчанина из Скагена. Впервые в жизни, подписывая договор о территориальной принадлежности, я самостоятельно выбирал себе новое жилище. Для меня это было не испытанное доселе ощущение. Что касается гимна «О Канада», напичканного воинственными и ханжескими трюизмами — «Ведь твоя рука крепко сжимает саблю — и крепко сжимает крест», сляпанного на скорую руку между двумя кружками пива, — так чем он лучше кошмарной, устрашающей «Марсельезы», гимна моей родной страны. Я знаю, что ни один уважающий себя и стремящийся к миру и достойной жизни на родине франкоканадец не должен так говорить — и даже думать, — но тем не менее я это напишу: что касается национальных гимнов, ни один не может соперничать с «God save the Queen»; где бы и по какому поводу его ни играли, каждый на миг испытывает сожаление, что не родился в Англии.

Мне было хорошо в Монреале. Это гидропневматический, уютный, удобный для жизни город, одно из редких мест на планете, которые дают ощущение мягкости, амортизации жизненных

конфликтов и ударов судьбы, возможности смягчить и пережить горе. В нем есть гора, парки, пруды, река и негромкий гул человеческого улья, где каждый занят самыми разнообразными делами; по вечерам клубящийся улей распадался на отдельные элементы, заполняющие огромные легкие светящих огнями небоскребов. Без особенных сложностей я влился в этот гудящий рой — сначала как продавец в магазине «Метизы» на улице Нотр-Дам. Это был подлинный рай всяческих штучек и приспособлений, Эдем инструментов и аксессуаров, где покупатели бродили между стеллажами, устремляющимися ввысь, и где можно было в конце концов найти любой, самый немыслимый причиндал. Потом я работал в Лоблоу, огромном супермаркете продуктов питания и сопутствующих товаров, где отвечал за снабжение отдела скобяных товаров. Затем устроился в «Canadian Tire» на бульваре Сен-Лоран: крупнейшее предприятие по поставке автозапчастей, оказывающее к тому же услуги по ремонту автомобилей. В течение примерно года на рабочем посту в ателье я ставил фильтры и свечи, менял масло, обслуживая все, что катается на колесах: «Everything on wheels», гласило объявление. Восемь машин в день. Около 160 машин

в месяц. Примерно 1600 машин в год.

Смазчик — это не профессия. Никому не придет в голову целыми днями обсуждать сравнительные достоинства масел и гордиться маслянистыми качествами Valvolin Motor Oil, Amazon Basics, Pennzoil, Royal Purple Synthetic, Amsoil или Quaker State Oil. Я обнаружил, что в этой области есть целая категория клиентов с обсессивно-компульсивным пристрастием к смазочным материалам, испытывающих к ним практически влеченье, род недуга. Можно было подумать, что эти люди в течение своей жизни более верны этим канистрам с очищенным и содержащим специальные добавки гидрокарбюратом, чем собственным женам, которые с безграничным терпением наблюдают, как они стареют и из года в год рассказывают одни и те же истории про тачки, на которые всегда уходит гораздо больше денег, чем планировалось.

Я покинул пространство масел и шин за восемь дней до тридцатилетия. Я жил в студии на улице Кларк, напротив «Маленькой Италии» и в двух шагах от парка Жарри. Охранник здания был, несомненно, одним из самых странных и самых забавных людей в этом городе, и я испытывал к нему бесконечную симпатию. В течение

всего рабочего времени, зимой и летом, он был одет одинаково: ботинки с усиленными носами, длинные носки, бермуды с накладными карманами, черный свитер и шоколадного цвета куртка с надписью UPS[11]. Мечтал ли он всю жизнь кружить по городу, выполняя заказы своей компании? Он по крайней мере честно носил эту смехотворную куртку. Кроме этого, когда он патрулировал коридоры здания, он великолепно имитировал все бытовые шумы современной жизни. Он мыл двери лифта, изображая звук вибрирующего блендера; протирал окна, гудя как пылесос; подметая, имитировал звук двигателя гоночного автомобиля; прилежно поскрипывал, открывая безупречно смазанную дверь. Когда вечер спускался на город, он выкуривал сигарету, сидя на ступеньках здания, и при этом подражал звуку дизельного мотора рыболовецкого судна, отходящего от причала. Во время этих аудиопредставлений Сергей Бубка явно был наедине с собой, он не стремился никого удивить, развлечь или произвести на кого-то впечатление. Когда он удалялся от берега, от морской глади, он все равно оставался за штурвалом своего сейнера

[11] Примечания: 11

UPS — американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.

и слушал равномерный гул двигателя Перкинс. На свой лад он выстраивал свой собственный мир, он озвучивал свой сон, свою мечту, подобно детям, запускающим игрушечные машинки по автодорогам гостиной. Мы отлично ладили с Сергеем Бубкой. Когда я приходил домой, часто встречал его в холле. «Ты чего хочешь сегодня вечером?» — спрашивал он. Я говорил ему: «Ну давай двери метро, которые открываются и закрываются». Через мгновение я слышал сигнал и входил в вагон. Вот так.

Я многим обязан Бубке. Именно он дал мне путевку в новую жизнь. На этот раз даже не пытаясь имитировать звук рукопожатия при приеме на работу — просто познакомив меня на Рождество с Александром, президентом ассамблеи совладельцев «Эксцельсиора», находящегося в квартале Ахунсик, неподалеку от одноименного парка. Мне несколько раз удавалось урегулировать небольшие проблемы с электрикой и сантехникой, которые вызвали у Сергея затруднение. Это служило источником его безграничной благодарности и восхищения. И поэтому, когда Александр, который раньше жил в нашем доме, случайно встретился с Сергеем и рассказал ему, что ищет нового консьержа, поскольку старый не справля-

ется со своими обязанностями, тот немедленно заявил ему: «У меня есть тот человек, который вам нужен». «А знаете, Поль, что ответил мне Александр? Он просто сказал: “Ну присылайте тогда его ко мне”. И при этом добавил: “А он тоже изображает разные звуки?” Я очень люблю месье Александра, это весьма почтенный пожилой джентльмен».

Месяц спустя я обосновался в «Эксцельсиоре», огромном пароходе, с собственным машинным отделением, со сложной внутренней жизнью, огромным плавательным бассейном, роскошным садом и шестьюдесятью восемью каютами на восьми палубах. Одну из них, без сомнения, самую неказистую, на нижнем этаже, отвели для меня. Я был принят на работу в качестве коменданта с обещанием переквалифицировать моей статус в суперинтенданта, если после трех лет службы моя работа всех удовлетворит. Вот так вот, хотя мне полагался мундир командира судна, я облачился в защитный комбинезон коменданта «Эксцельсиора».

Первый мой год прошел в непрекращающемся кошмаре. Мне приходилось бороться с усталостью, неуверенностью в себе, тревогой, мраком невежества. Я был завален, задавлен задачами,

основными обязанностями, индивидуальными просьбами, авариями, текущим уходом за коммуникациями и приборами, осложненным их использованием в условиях суровой зимы. Несколько раз я был на грани того, чтобы написать заявление об уходе. За этот год я потерял девять килограммов. Спал по ночам через раз. Я практически безвылазно жил в брюхе этого огромного зверя. По истечении шести месяцев я внезапно перестал помнить имена жителей здания, которых встречал на общей территории.

Хортон был тысячу раз прав, когда подшучивал над образом жизни моего отца. Если говорить об интенсивности работы, о необходимой степени загруженности и концентрации, об утомлении — его работа, в которую входило содержание в порядке церкви, обеспечение ее работы, уход за Хаммонд-органом и воскресное наставление на путь истинный заблудших англичан, казалась какой-то синекурой, приятным времяпрепровождением, практически развлечением. Поворошив события тех лет, я могу точно сказать: при мне отец никогда не жаловался на усталость, разве что в ту эпоху, когда скакал по ипподромам и казино. Долгие ночные часы, проведенные за рулем, тоска от обрушившихся на него финансовых по-

терь, страх, что его тайная жизнь в конце концов станет для всех явной, — все это медленно подтачивало его. Но прежде, когда прихожанки вились вокруг него роем, он всегда на моей памяти был полон сил, энергичен и свеж, свеж как роза.

Здесь тоже были розы, они ждали меня в саду со своими шипами, острыми, как кинжалы, и я должен был ухаживать за ними, срезать в подобающее время, по косой, оставляя не более трех бутонов на слабом кусте. И еще укрывать их на зиму. А также заниматься кустами бузины, голубыми гималайскими кедрами, деревцами ирги, по осени сметать многочисленные кленовые листья с дорожек и так далее. И еще этот газон, который летом всегда требовал воды и при этом должен был выглядеть безупречно свежим и зеленым, «покошенным ровно, не слишком высоким… но при этом не сбритым слишком коротко». И еще этот бассейн, в котором я много раз тонул, не в силах удерживать равновесие в этой громадине, вмещающей 230 000 литров воды: то в ней резко падал уровень Ph — и хоть умри, надо вернуть его в нужные рамки; то заводились разные бактерии, которые, в зависимости от своего вида, или превращали его в огромную молочную ферму, или придавали малопривлекательный цвет

мороженого шпината. Пока бассейн не был подвергнут солевому электролизу, мне приходилось биться изо всех сил с помощью дезинфицирующих средств на основе хлора (4 вида действия), средств для повышения уровня кислотности типа Ph+ или жидких флокулянтов в тяжелых бидонах, которые образовывали отвратительные комья скользких хлопьев, и я вынужден был нырять в самую глубь бассейна и вылавливать там эту гадость, вытаскивать наружу и относить на помойку. Все эти операции были дорогими, трудоемкими и занимали очень много времени, причем за моей работой пристально следили, неустанно подгоняя меня, жильцы, уже втиснувшиеся в купальники и потому нетерпеливые. Подлые микроорганизмы пожирали мою жизнь, иногда я посреди ночи прибегал в бассейн, чтобы посмотреть, что им удалось уже натворить за это время, и ликвидировать непорядок раньше, чем встанут жильцы и его обнаружат. В общем, до момента, когда в этих рекреационных водах был произведен солевой электролиз и температура стала автоматически поддерживаться системой отопления на уровне не выше 28 градусов с конца апреля до середины октября, в теплое время года над моей головой, лишая сна и аппетита, висели

эти неуправляемые 230 000 литров воды, готовые в любой момент устроить какую-нибудь гадость и залить меня водопадом стыда.

В тот период не раз случалось, что я оказывался перед дверью Ноэля Александра и рассказывал ему о своих неудачах с удрученным видом кающегося грешника: «Сегодня ночью я его загубил». Александр поворачивался к жене: «Мы его загубили». Меньше чем через час все жильцы дома высыпали на балконы, устремляли взгляды на последствия катастрофы и вздыхали, что конечно, да, его загубили.

Да, наш бассейн долгое время был для меня источником бесконечных неприятностей и огорчений. И поэтому особенно забавно, что именно он впоследствии, много лет спустя, создал предпосылки для моей отставки и, косвенно, тюремного заключения — но на этот раз без всякой связи с его уровнем кислотности или прочими гидрологическими характеристиками.

В довершение всего сложности и проблемы этого гидротехнического сооружения не кончались с наступлением холодов. Поскольку осенью его необходимо было спустить, слить целиком все 230 кубических метров воды, отправить все это в канализацию, чтобы морозной зимой лед не

повредил плитку или систему шлангов. Конечно, эта операция была необходима, но каждый раз, когда ее начинал, я испытывал подлинный стыд и ощущение, что делаю что-то очень нехорошее. 230 000 литров воды, приправленной хлором, а впоследствии очищенной солями, подогреваемой в течение полугода, чтобы жильцы дома могли без дрожи и трепета отрабатывать в ней свой брасс, — и вдруг ты вытаскиваешь пробку, и весь этот маленький урбанистический океан струйкой удаляется в пучину забвения вместе с отходами жизнедеятельности городских жителей.

Вторая фаза процесса консервации на зиму состояла в том, что я очищал с помощью воздушного компрессора все трубы, стоки и фильтры и после этого выключал систему отопления. После этого оставалось только дождаться снега, который покроет белым покрывалом забытья зияющую голубую яму до следующего года.

Из тяжких времен моего ученичества я вынес один очень простой урок: жилые здания похожи на людей, которые в них живут и которые любят, чтобы на них все было похоже.

Есть бесчисленное количество способов загубить свою жизнь. Мой дедушка выбрал

автомобиль «Ситроен DS19». Отец — участь священнослужителя. А вот я предпочел стать монахом в этом светском монастыре, который взял на себя право регулировать мои дни, тщательно расписывая их распорядок вплоть до каждого часа. Если не учитывать разнообразные аварии и неожиданности, мой рабочий день проходил по одному и тому же плану. Утром я обходил все коридоры здания, чтобы удостовериться, что все чисто. Затем тестировал лифты, освещение, электрические системы и, вне зависимости от погодных условий и температуры воздуха, поднимался на крышу, чтобы проверить системы кровельной аэрации. Восемь башенок, каждая оснащена тремя моторами, предназначенными для вентиляции, для поглощения запахов и для осушения влаги. Я проверял исправность клапанов, внимательно вслушивался в звук работающих двигателей, чтобы уловить первые же признаки износа или поломки. Вернувшись в помещение, я спускался в подвал, чтобы проверить насосное отделение, вымыть створки ворот гаража, проверить работу системы противопожарной безопасности, состояние общей сигнализации и всех систем контроля доступа в здание по пропускам. Проделав все это, прежде чем приступить

к выполнению непосредственных обязанностей коменданта, я задерживался в комнате, предназначенной для видеозаписи в здании, в которую стекалась информация с двадцати четырех камер наблюдения, покрывающих большинство зон внутри здания и вокруг него.

Этот предварительный обход был очень важен, поскольку позволял мне предотвращать проблемы прежде, чем они появятся и повлекут за собой массу других неисправностей.

«Эксцельсиор» действовал по образу и подобию бассейна. Здание было хрупким, непредсказуемым, загадочным и своенравным. Зимой и летом за ним нужен был глаз да глаз. Иначе, воспользовавшись любым упущением, он готов был выйти из берегов, сыграв со мной дурную шутку. Моей задачей было его урезонить и привести в надлежащий вид. «Эксцельсиор» вел себя как зубная паста: выдавить из тюбика легко, запихать назад в тюбик очень сложно.

За последние два дня в тюрьме распространилась эпидемия гастроэнтерита. Это была подлинная мука: в тесноте и скученности, к тому же при общем пользовании отхожими местами, инфекция распространялась молниеносно. Болезнь поражала камеры одну за другой, и си-

стематической раздачи имодиума, судя по всему, было недостаточно, чтобы решить проблему. Тлетворные запахи проникали во все помещения. Охранники носили маски, резиновые перчатки, и им было приказано не вступать в контакт с заключенными. Я надеялся, что болезнь обойдет стороной нашу камеру, но вчера мы с Хортоном почувствовали первые симптомы. Видимо, пища все-таки была причиной этого заболевания, которое так быстро охватило практически всех. Необходимость садиться на толчок на глазах у соседа и делать свои дела как можно быстрей — невозможно придумать большее унижение. Никто из людей не может быть рожден для такого. Мне кажется все более непонятной и неприемлемой грубость и жестокость нашего мира. При каждом мучительном позыве я старался справить свои дела побыстрее и извинялся перед Патриком.

— Не строй из себя барышню, чувак. Вот так оно устроено, и все. Они держат нас за яйца. Ну и не усложняй себе жизнь. Опорожняйся себе спокойно и не обращай на меня внимания. Вот слушай, что я тебе скажу: я ничего не вижу, ничего не слышу и ничего не чувствую.

Иногда в первобытной дикости Хортона скво-

зит что-то благородное и достойное, что-то, что ставит его выше судей и сторожей, выше отца, который всю жизнь кого-то учил, но так сам ничему и не выучился. В самый неожиданный момент, когда ты меньше всего этого ждешь или ситуация вроде бы вовсе неподходящая, он внезапно являет проблеск человечности, словно вспышку молнии.

Охранник сказал нам, что, по словам врача, все войдет в норму в течение недели. А пока нам полагается диетическое питание на основе риса. Мы с Патриком старались как можно больше спать, но спазмы наших раздраженных внутренностей неустанно поднимали нас на вахту. Перед тем как в очередной раз лечь, Патрик обратился ко мне с просьбой.

— Если завтра будем чувствовать себя получше, ты сможешь постричь мне волосы?

Видимо, доверие Патрика ко мне было велико, потому что доселе любой, кто хотя бы раз присутствовал при процессе создания прически у этого страшилища, немедленно выражал желание покинуть камеру.

Утром мы и правда почувствовали себя получше. Запахи за ночь вроде бы повыветрились, и внутренности тоже как-то успокоились. Патрик

готов к процедуре. Он сидит на табурете, прямой как палка, с полотенцем на плечах. Он очень напряжен и встревожен. У него свело челюсти, перехватило горло, и потому он едва смог выдавить несколько ценных указаний:

— Не слишком коротко, понял, и стриги давай аккуратно, не бери слишком много волос сразу. И нельзя, чтобы я слышал клацанье ножниц, когда они отрезают прядь. Тихонько стриги, мягко, нежно. Если я почувствую, что что-то не так, я тебе скажу, и ты сразу переставай. Если прям плохо себя почувствую, мне придется немного полежать на полу. Это нормально, не обращай внимания. Я тебе доверяю. Ну все, бля, вперед, дай мне еще минутку-другую — и можно начинать.

У Патрика Хортона с детства редко встречающаяся фобия. Он воспринимает свои волосы как непосредственное продолжение тела, его неотъемлемую часть, и необходимость подрезать их вызывает у него физическое недомогание.

— Даже не знаю, как тебе сказать. Ну это как если ты мне будешь отрезать кусочек пальца или там мочку уха, как если мне действительно что-то приходится ампутировать. Мне становится больно. Волосы, они ведь часть меня. Поэтому я и не могу ходить к парикмахеру. Дома меня всегда

стригла мать. У нее был свой подход, она со мной разговаривала, отвлекала, всякое такое. А сам я не могу. Я несколько раз пытался постричь себя перед зеркалом, но каждый раз, как я пытаюсь отрезать ножницами хоть сколько, теряю сознание. Можешь представить, что тебе надо отрезать себе кончик языка, к примеру?

Я щупаю пальцами волосы Патрика. С бесконечной деликатностью я начинаю по волосинке обрубать эту густую гриву. Все равно что продираться сквозь джунгли с маникюрными ножницами.

— Потише, потише, не бери сразу помногу и не дергай так. И главное, не щелкай ножницами, я это не переношу, прости уж, парень. — Огромное тело Патрика мелко дрожит, на верхней губе выступили крохотные капельки пота. — Стоп, стоп. Давай сделаем паузу на несколько минут». На полу лежат несколько тоненьких прядок, буквально намек на волосы. Такими темпами мы и за неделю не управимся.

Пока Патрик лежит, я готовлю кофе, который тот выпивает, весь дрожа, вцепившись в чашку обеими руками. Он похож на потерпевшего кораблекрушение, только что выловленного из воды.

Я действую ножницами крайне аккуратно, но даже самым острым лезвиям свойственно издавать характерное клацанье, когда обрезают кутикулу волоса, или вырезают участок его внутренней части — кортекса, или, к примеру, его медуллы. И вот именно это-то не может вытерпеть Патрик. «Стоп, стоп, прекрати, что-то пошло не так, голова кружится, надо полежать». И вот человек в полтора раза больше обычного быстро сползает с табурета и ложится, свернувшись клубочком, как большое домашнее животное. Я опускаюсь на корточки рядом с ним, кладу ему руку на плечо, слушаю его дыхание, которое мало-помалу становится спокойнее, и сижу столько, сколько нужно.

Мои приступы паники по ночам и постоянная неуверенность в себе с годами постепенно сошли на нет, и робкий интендант «Эксцельсиора», в соответствии с условиями трудового договора, по истечении третьего отчетного года был повышен в должности и стал суперинтендантом. Проще говоря, этот новый статус сулил мне не только повышение зарплаты, но и новую нагрузку: в мои обязанности теперь входило административное управление зданием, а именно закупка продуктов питания, средств ухода за домом, материалов

и инструментов, отношения с подрядчиками и рабочие встречи с представителями различных организаций. Я, некоторым образом, руководил небольшой фирмой. И спустя некоторое время, которое понадобилось мне, чтобы привыкнуть к новой должности, я легко вписался в униформу суперинтенданта — меня стали называть по имени, на мне держалось буквально все, все со мной как-то сблизились, а некоторые даже избрали своим конфидентом.

Мой участок работы заканчивался у порога каждой из квартир. То, что происходило внутри, меня никак не касалось. Каждый сам, как умел, разделывался со своими авариями, утечками газа, короткими замыканиями, проблемами с телефоном и обрывами кабеля.

В начале 90-х годов «Эксцельсиор» населяли преимущественно довольно пожилые люди, которые обосновались там с самого начала, рассчитывая впоследствии на пенсии насладиться комфортабельной и спокойной жизнью. И этот момент настал. А поскольку судьба решила — уж баловать этих собственников, так баловать, то и нашла для них франкоканадского суперинтенданта, ни в чем не дипломированного, но во всем специалиста, способного устранить любую ава-

рию, утечку газа, короткое замыкание, проблемы с телефоном и обрыв кабеля. Поэтому, невзирая на запрещение, прописанное в регламенте, передо мной раскрывались настежь все входные двери. Когда я выходил из своей служебной квартиры, целое здание становилось для меня вторым домом. В течение всех этих лет в числе шестидесяти восьми резидентов в доме проживали двадцать одна одинокая женщина, и все они были уже в годах. И все они рассчитывали на меня. Иногда, чтобы устранить засор в раковине, а иногда — чтобы было с кем поговорить о былом и слегка облегчить уже перегруженную воспоминаниями память. Иногда по вечерам мне казалось, что я больше времени внимаю стону и поскрипываниям душ, чем на крыше прислушиваюсь к мерному гудению экстракторов. Но мне исполнилось тридцать пять, у меня было ангельское терпение и еще некое пристрастие, которое осталось потом навсегда: желание все исправить, починить, привести в порядок, в ухоженное состояние. И почему бы тогда не поступать подобным образом с шестьюдесятью восемью жильцами дома, у которых в итоге появилась присказка: «Если у вас есть проблема, у Поля есть решение».

Четырнадцатого мая 1991 года я столкнулся с

ситуацией, у которой не было совершенно никакого решения. Гюнтер Ганс, мамин сожитель, позвонил мне посреди ночи и сообщил, что она умерла.

Я как сейчас слышу его низкий голос с резким немецким акцентом: «Фаша мать умерла тшас назад. Она не мутшилас. Это бил замоубийстфо».

Аэропорт Дорваль. Полет рейсом «Эйр Канада». Семь с половиной часов ночного полета. Аэропорт Женева-Куантран. Ганс ждет меня. Его «Мерседес» семидесятых годов. Он мало говорит. Его дом, мрачный и темный, словно явившийся из прошлого. Скрипучая деревянная лестница, обтянутая красным бархатом. Спальня. Тело моей матери. Она наряжена, как на праздник. Руки скрещены на груди. Бледное лицо раскрашено, оно как живое. Кажется, что она просто уснула. Что смерть вошла в нее и тотчас же вышла. Что сейчас она откроет глаза, заметит сына и позовет его присесть рядом. На ней нет ни часов, ни украшений — Ганс все уже аккуратно сложил в шкатулку. У Ганса вид аккуратиста. Мне хочется погладить руки матери, ее лицо, но я не решаюсь. Ганс стоит возле меня в позе бдительного таможенника. Шум мотоцикла на улице. В окне вдали — бухта Женевского озера.

«Погребание зафтра зутра». На ночном столике еще стоят пузырьки. Выстроились, как маленькая победоносная армия. «Это бил замоубийстфо».

Он уже сказал мне это по телефону и еще раз сегодня в аэропорту. Я сын этой женщины. Я занимаюсь благоустройством здания. Я помогаю пожилым людям, порой больным и немощным. Мне бы хотелось еще иметь возможность воскрешать мертвых. Я сажусь на край кровати, я касаюсь ее кожи, такой же холодной, как кожа умершего отца. И тогда, далеко-далеко от Ганса, в пространстве бесконечно малых величин, вмещая в себя весь прах наших земных жизней, всю пыль с тропинок детства и всю тоску по утраченному навек, слезы маленького Поля Хансена капают на полотняный рукав маминого пиджака.

Ганс, вечный швейцарский гвардеец, факир контрабанды, стоит в той же позе. Мотоцикл на улице с шумом проносится в противоположном направлении.

Крематорий кладбища Сен-Жорж, по дороге из заповедника Бати в Женеву. Хвойные деревья, широкие лестницы, ведущие к кубическому строению из стекла и бетона. Какие-то недоделанные башенки на крыше. Большие печи, обложенные

белой фаянсовой плиткой. «Фаша мать не шелала церкофный ритуал». Ганс с этим его проклятым голосом, словно считающий себя обязанным комментировать и без того очевидные вещи. Я и не сомневался, что бывшая жена пастора-игрока Анна Маргерит, моя мать, в прошлом вестница «Глубокой глотки», проповедница «Свинарника» Пазолини, атеистка с самого рождения, не стала бы вымаливать пасторского благословения, перед тем как поджариться в газовой печи. Подобно Медее, она войдет в ад, нечестивая и безбожная, унося с собой всю грацию и красоту этого мира.

Обратная дорога прошла в каком-то полузабытьи, сонной одури. По прилете восходящее солнце осветило Дорваль, Канада выглядела, как остров Майорка, «Эксцельсиор» лежал у берега пустынных волн. Невзирая на то что было слишком раннее утро, я забрался на крышу, чтобы проверить двигатели и убедиться, что мой маленький мирок дышит спокойно и легко, что все идет по плану, тихо и мирно, безо всяких потрясений.

Бобр Вайноны

Преображения волосяного покрова Патрика так и не произошло. Он в конце концов решил сохранить каждую фолликулу и кутикулу своей прически в целости и сохранности и просто поместить волосы под черную сетку; такие иногда носят калифорнийские заключенные, которые активно качают мускулы на тренажерах.

Сегодня тюрьма кипит и бурлит. Наше исправительное заведение собирается посетить чиновник из министерства. В его присутствии двери всех камер должны оставаться открытыми, а заключенные — находиться внутри. Представитель министерства зайдет в каждую камеру и поговорит с узниками тюрьмы.

Судя по всему, эта новость порадовала Патрика. До этого он записывал в тонкую тетрадку жалобы, о содержании которых известно было только ему одному, и он намеревался их представить нашему посетителю, если он пожелает зайти в нашу камеру.

Как большой медведь, вылезший из берлоги после долгой зимы, Патрик Хортон, казалось,

вновь обретает всю свою мощь. У него слюнки текут в предвкушении грядущей встречи с членом государственного аппарата, которая для него эквивалентна большому горшку с медом.

Роже Сорель робко постучал в нашу дверь. Его сопровождали два представителя королевской жандармерии Канады. Он вошел и предоставил нам с Патриком свои верительные грамоты. Роже Сорель выглядел славным малым. Это было написано у него на лице. Скорее всего, он был младшим или предпоследним из обязательных двенадцати или тринадцати детей, которых его родители производили на свет в течение всей жизни, и чувствовалось, что за обедом старшие постоянно лезли вперед него. Только это и объясняло, что даже в солидном возрасте он был так невероятно худ, что его шея болталась в вороте рубашки, как в спасательном круге. Патрик внимательно посмотрел на Роже Сореля. Ему, казалось, было даже как-то страшновато иметь дело с таким хрупким существом. Он явно был огорчен, что ему не придется отстаивать свои права перед кем-нибудь основательным вроде него самого. Но когда заместитель министра спросил, нет ли у нас каких-нибудь замечаний по поводу работы исправительного учреждения

Бордо, Патрик сразу взял быка за рога.

— Я тут вам кое-что набросал вот на этой бумажке, но прежде хочу ввести вас в курс дела. Во-первых, в отличие от всех других, я сижу здесь ни за что. Я невиновен. Все, в чем меня обвиняют, — сплошная ложь. Я член организации «Ангелов Ада», это правда, но занимался только мотоциклами, все остальное, эти все наркотики, я их и пальцем не коснулся. Это первый пункт. Затем хочу вам задать два или три вопроса. Я не знаю, где вы живете, но смогли бы вы жить здесь, в маленькой комнатушке, один на один с типом, которого вы до этого ни разу не видели? Есть, пить с ним каждый вечер? Могли бы вы гадить перед ним? Потому что это именно так называется. Триста дней в году мы здесь едим курицу, которую варили я даже не могу себе представить с чем. Еда тут не только отвратительная, она еще и опасная. Вы спросите у остальных, они вам подтвердят. На прошлой неделе всех прохватил жуткий дрищ, всю тюрягу разом, мы с утра до вечера по очереди бегали на толчок и глотали имодиум горстями. А крысы и мыши у вас дома водятся? Здесь они живут как у себя дома и скребутся каждую ночь. Этот блядский звук не дает уснуть. Все щели приходится закрывать металлическими опилками и

гвоздями. О, я еще забыл сказать про отопление. Я не знаю, сколько градусов бывает на Рождество у вас в министерстве, но мы этой зимой спали одетыми, завернувшись в одеяла, которые воняют старыми автомобильными покрышками. И я уже не говорю про укороченные прогулки, про невозможность чем-то заняться и про охранников, которые нас за полное говно считают. Вот вы теперь все это вообразите, когда при этом ты, то есть я, абсолютно невиновен. Если вы захотите навести справки, я записал свое имя на этом листочке. Хортон. Патрик Хортон.

Облаченный в серый мешок, болтающийся на его костях и, по-видимому, заменяющий ему костюм, заместитель министра Сорель выглядел так, словно его только что вынули из центрифуги. И примерно это с ним действительно и произошло. Он просто встретил на своем пути человека в полтора раза больше обычного, который был на пике свой формы: боевитого, решительного, точного в словах. Министру нужно было время, чтобы прийти в себя.

Перед тем как выйти из нашей камеры в сопровождении двух жандармов, которые самим своим присутствием подчеркивали тесноту и убогость нашего жилища, Роже Сорель протянул

мне руку, полную уж сам не знаю чего, а потом обратился к Патрику.

— Благодарю вас за вашу смелость и вашу искренность. — И невысокий худенький человечек вышел так же, как и зашел, скромно, чуть не бочком, в сопровождении двух жандармов.

В этот вечер главный охранник зашел нас навестить: хотел разузнать, все ли хорошо прошло во время визита представителя министерства.

— Надеюсь, вы не наговорили ему всякой херни, Хортон?

Поправляя на непослушной шевелюре черную сетку, Патрик широко улыбнулся:

— Чтобы я, начальник? Да ни в жизнь!

В самом начале июня того же 1991 года в зале, предназначенном для общих собраний собственников «Эксцельсиора», состоялся ежегодный пленум административного совета здания под председательством моего благодетеля Ноэля Александра. Бóльшая часть совладельцев присутствовала на этом собрании, где решался выбор приоритетных статей расходов на будущий год и подводились финансовые итоги предыдущего. Все это проходило в теплой, почти семейной обстановке, иногда возникали кое-какие трения, но в конце концов все собирались вокруг бокала

шампанского или шардоне.

Киран Рид, который в виде исключения в этом году не был на момент собрания в отъезде, присутствовал при этих уставных увеселениях, приветствуя одних жильцов дружеской улыбкой, других — кивком головы, но при этом держался особняком и ни во что не вмешивался. Я хорошо помню, что в этот день мы говорили об одном из его дел, которое он вел в Балтиморе. Довольно мутная история, вообще говоря. Четверо детей обратились в страховую компанию, рассказав об ужасных и гнусных поступках их умершего отца, в результате чего компенсационная выплата, причитающаяся их матери, уменьшилась до смехотворных размеров. «Я был обязан записать и внести в дело их свидетельства, это ведь моя работа. Я так и не узнал, почему они решили до такой степени очернить отца и лишить мать средств к существованию. Но потом, уже позже, я слышал, что страховщики были им весьма признательны и выплатили каждому солидное денежное вознаграждение. Судя по всему, у вас нет детей, Поль. Это хорошо, вот и не заводите. Уж поверьте мне, рано или поздно они вывалят на вас ушат помоев».

Я часто замечал, что по возвращении из некото-

рых командировок у Рида складывалось весьма нелестное мнение о себе самом и о роде людском в целом. Он тогда надолго закрывался в своей квартире, не выходя по несколько дней, словно желая пройти дезинфекцию, перед тем как начать нормально жить до следующего поручения страховой компании. «Знаете, страховой аджастер — это не профессия. Сперва я был адвокатом и работал по большей части с профсоюзами. А потом заболела моя мать. На операции и на дорогостоящее лечение она за полгода потратила все свои сбережения. И потому понадобилось, чтобы дальнейшие расходы — длительную госпитализацию, сиделку, лекарства — я взял на себя. И вот тогда-то мне предложили первое дело. Очень хорошо его помню. Весьма странная история. Человек ехал на пикапе со скоростью сто километров в час по деревенской дороге. На вираже откуда ни возьмись прямо перед ним на дорогу выскочила лошадь. Машина врезалась в нее, и лошадь пробила лобовое стекло и выскочила через заднее. В это трудно поверить, но все произошло именно так. Когда прибыла «Скорая помощь», медики обнаружили, что водитель раздавлен в лепешку боками лошади, когда она летела через кабину. Вот такая была

моя первая история. Случилось это неподалеку отсюда, на севере штата Нью-Йорк. От меня требовалось навести справки о жизни покойного. И смотрите-ка, благодаря неосторожным лошадям и невезучим людям я смог обеспечить матери достойную жизнь еще лет на семь-восемь. А ваши родители еще живы, Поль?»

Недели за две до этого я мог еще ответить, что да. Но теперь — нет, мои родители оба умерли. И не было никакого повода о чем бы то ни было наводить справки. Никто из них не налетал по дороге на мчащуюся лошадь. Ну разве что отец, со своим биноклем и кепкой-шестиклинкой, на выходе на финишную прямую.

По прошествии времени у меня появилось глубокое убеждение, что Рид с каждым годом все больше сгибается под гнетом мертвецов, в карманах которых ему приходилось рыться. Постоянно находясь в эпицентре горя, общаясь со страховщиками, готовыми на все, лишь бы уменьшить свои потери, с семьями усопших, жадно рвущимися увеличить причитающиеся им выплаты, с непредсказуемыми судьями и адвокатами, мертвой хваткой вцепившимися в свой будущий процент, Рид варился в этой ядовитой человеческой похлебке бок о бок с самыми

гнусными личностями, худшими представителями рода человеческого. Его задачей было ни в коем случае не допустить суда и для этого заговорить зубы родственникам жертвы, войти в доверие, внушить им, что страховая компания на их стороне, проявить, где надо, сочувствие и расположить к себе и убедить их принять его предложение о сумме, которая, возможно, будет меньше ожидаемой, но зато станет доступна здесь и сейчас, без всей судебной волокиты (а ведь к тому же суд всегда лотерея, да плюс бесконечные допросы, расследования и немыслимые расходы на адвоката). Вот так-то аджастер играл на понижение, в домашней обстановке гостиной, окруженный родственниками, обессилевшими от горя и при этом обеспокоенными вопросом: что же такое может таиться в карманах или стенном шкафу у отца?

Через некоторое время после общего собрания он постучал в мою дверь. «Вы сейчас заняты чем-нибудь важным, Поль? Если вы не против, я хотел бы пригласить вас в ресторан. Я весь день читал материалы одного дела и что-то уже больше не могу, голова сейчас взорвется от всего этого дерьма».

Когда мы вновь вернулись в «Эксцельсиор»,

примерно в полвторого ночи, Киран Рид, держа меня под руку, говорил и говорил, рискуя сорвать голос. Он выплескивал наружу все, что его переполняло, что покрывало липким слоем грязи его память, распыляя свой стыд и терзания совести в равнодушный холл, сияющий зеркалами и галогеновыми лампами. «Все это на самом деле не так сложно. Наоборот. Вся социальная несправедливость жизни законодательно оформлена и юридически обоснована на протяжении всей жизни, и особенно в смерти. Для страховщика смерть владельца крупного нью-йоркского предприятия — дело провальное, поскольку вознаграждение, которое выплатят семье, будет в десять или даже в двадцать раз больше, чем у какого-нибудь фермера, скончавшегося в Монтане. Существует специальная картография горя, все это знают, список графств, где за покойника платят золотом. Вы знаете, какой случай считается самым страшным для страховщиков, которые не смогли договориться с семьей и оказались перед лицом суда? Это ребенок, убитый подушкой безопасности, — или же сорокалетний белый мужчина, горожанин, работающий на хорошей работе, женатый, с двумя детьми, обожающий свою семью, заботящийся о престарелых роди-

телях. И в том, и в другом случае это катастрофа для страховой компании. И когда дело выглядит слишком уж безупречным, как в случае с этим белым мужчиной, нанимают меня, чтобы я в нем покопался. Навел справки о здоровье, например. Это кажется странным, но состояние здоровья усопшего может повлиять на размер компенсации. За курильщика дают меньше. Гипертоник, проходящий лечение, — еще хуже. А если у покойника был ВИЧ, шансы приближаются к нулю. Представьте себе, что при профессиональном учете ставок или, скажем, для постановления суда усопший, который при жизни был человеком общительным и коммуникабельным, любил выйти в свет, повидаться с друзьями (это называется outdoorsy people), стоит дороже, чем одинокий тип, который сидит безвылазно дома и читает или смотрит телевизор. По сути, вы можете заметить, что Америка — это то самое чудесное место, благословенная земля, где очень любят, чтобы умершие были атлетически сложенными, жизненно активными и физически совершенно здоровыми людьми. Не следует забывать и о дополнительной премии семьям усопших, которые к тому же отличались тем, что у нас называется “сексуальной верностью в браке”. Если перед

судом безутешная вдова объявит, что оказалась лишенной “частого и полноценного сексуального общения”, то тотчас же судья решит утешить ее в горе прибавкой к компенсации в размере до 200 000, а то и 250 000 долларов. И знаете еще что, Поль? Удивительная наблюдается при этом штука: чем вдова привлекательнее, тем выше ей присуждают компенсацию. А если, например, домохозяйка погибла в результате несчастного случая, нанимают специального эксперта по домашним делам, который должен оценить, помимо необходимого pretium doloris, объем и ценность работ, производимых ею по дому. Готовка, уборка, мытье посуды, походы по магазинам, воспитание детей, ведение семейного бюджета. Все это будет изучено, оценено в соответствии с рыночными ценами и включено в счет под заголовком “экономические потери”. Но в настоящее время больше всего необходимы расследования по искам о так называемых *pain and suffering*[12] *u emotional loss*[13], за которые выставляют особенно высокие счета. В деле того типа, по которому недавно был суд, процесс “Куалл против Кейза”,

[12] Примечания: 12
Боль и страдание.

[13] Примечания: 13
Эмоциональная потеря.

очень хорошо его помню, адвокатская контора “Бут и Коскофф” из Лос-Анджелеса, представители истца, отстояли 17 с половиной миллионов долларов. Но перед тем как выплатить подобные суммы, компании всегда просят нас порыться, покопаться, проверить, не был ли покойный случайно ловеласом, любителем связей на стороне. Вот так все и происходит, дорогой мой Поль, именно так. Я занимаюсь грязным ремеслом, использую гнусные методы, вращаюсь среди подлых людей. Когда вы умрете, даже при условии что здесь, в Канаде, дела обстоят несколько по-другому, ваша подлинная посмертная ценность будет зависеть от изворотливости адвоката, от порядочности аджастера, от историй в вашем прошлом, от будущего, которого у вас уже не будет, от цвета вашей кожи, от вашей удачливости, а также от того, насколько вы способны вызвать недостачу “частого и полноценного сексуального общения”. Частого и полноценного, никогда не забывайте об этом, Поль, пока вы живы».

Я спросил у Рида, почему же после смерти матери он не поставил крест на всей этой истории, не вырвался из этого порочного мира, не вернулся к первоначальной деятельности. Он ответил мне, что было уже поздно и у него не хватило

смелости все начать с нуля. Он сбился с дороги и свернул не туда и хорошо понимал это, но уже решил пройти по этому пути до конца. В эту ночь мне очень трудно было заснуть. Виной всему был Рид, его откровения, от которых мне порой становилось нехорошо, его истории, которые без конца крутились в голове, хотя он сам уже давно ушел. Я думал о мужчине и женщине, которые ехали на машине с довольно большой скоростью. И грузовик-полуприцеп внезапно выскочил из-за поворота, с проселка. Они даже не успели затормозить и налетели на прицеп, который снес всю верхнюю часть автомобиля. По инерции она проехала еще сто метров по шоссе и остановилась. Тела мужчины и женщины сидели ровно, с прямыми спинами, оба были пристегнуты в соответствии с правилами. У обоих одинаково отсутствовала половина черепа, остались только верхняя и нижняя челюсть. Верхние половины валялись тут же, на шоссе, в месиве мозгов и волос. Какое было истинное состояние здоровья этих двоих? Были ли они *outdoorsy people*? Насколько часто и полноценно осуществляли сексуальное общение?

Сегодня утром стоит держаться от Патрика подальше. Его мотоцикл могли изъять и приобщить

к делу в виде вещественного доказательства, это сказал ему адвокат. Мощная машина марки Fat Boy[14], с двигателем Milwaukee Eigth 107, шесть скоростей, 25 000 долларов, 1745 кубических сантиметров, то есть 14,32 доллара за кубический сантиметр. Фотография «толстого мальчишки» стояла у Хортона на тумбочке. Мне так бы хотелось сказать судье, что ни в коем случае не надо касаться этого байка, что они разбудят вулкан, и человек в полтора раза больше обычного станет яростнее двоих, а то и больше. Мне бы хотелось еще сказать судье: что бы ни сделал Патрик, каково бы ни было совершенное им преступное деяние, пусть его мотоцикл стоит где стоял, не стоит его и пальцем касаться, пусть толстый мальчишка спит под своим кожухом, неподвластный времени и людскому правосудию. Если что-то в мире и могло спасти Патрика Хортона, это его «Харлей», его кубические сантиметры по 14,32 доллара каждый. Конфисковать этот предмет означало развязать конфликт, объявить Хортону войну, решиться погубить все человечное, что в нем оставалось. И сотворить из него нового Мориса «мамочку» Буше, бывшего лидера

[14] Примечания: 14
Толстый мальчик (*англ.*).

«Ангелов Ада», приговоренного к пожизненному заключению за убийство двух охранников в тюрьме.

Все утро Патрик ходил по коридору, бормоча: «Тот, кто коснется мотика, труп. Бля, да я из него кишки выпущу. Даю слово байкера, я его на кусочки разрежу». Он не обращался ни к кому конкретно, он просто ходил и рычал от ярости, как зверь, упустивший добычу. К полудню, заинтересовавшись его возбужденным состоянием, двое охранников подошли к нему в коридоре и спросили, что случилось. Еще через два часа его проводили в кабинет директора тюрьмы.

Эмманюэль Соваж был человек ничем не лучше других. Он просто тоже занимался грязным делом, находясь среди гнусных типов, которые в большинстве своем до этого вели порочную жизнь. Он руководил этим убогим заведением с помощью тех средств, которые выделяло ему министерство на быт и кормежку для его подопечных. Время от времени он приходил повидаться с нами, держался запанибрата и не проявлял, с нашей точки зрения, ни экстраординарной жестокости, ни брызжущей через край эмпатии. Это, пожалуй, все, что я могу сказать об этом человеке, который меньше чем за два часа

сориентировался и позвал Хортона в свой кабинет, когда до него дошла информация, что этот парень вознамерился выпустить кишки доброй половине населения города Монреаля.

Часа в четыре я увидел, что Хортон возвращается. Походочка у него была специфическая, такая бывает, когда он отлично себя чувствует и вообще доволен жизнью. У него, казалось, в подошвах башмаков спрятаны какие-то пружинки, и он словно подскакивает при каждом шаге. Лицо его сияет, и он, подобно молодому сенатору, отправившемуся на подведомственную территорию в сельскую местность, приветствует всех встречных легким движением руки. Войдя в камеру, он даже не взглянул на меня, а сразу направился к фотографии «толстого мальчишки» и поцеловал его так, словно это был его первенец, вернувшийся с войны.

— Ну, Соваж, скажу тебе, это сила, просто человечище! Можешь себе представить? Он меня вызвал к себе, спросил, что я тут кипиш развел, ну я ему изложил всю херню за пять минут, он почесал репу и говорит мне: «Подожди в коридоре, я позову секретаря». Спустя буквально пять минут, даже, наверное, меньше, он мне говорит: «Ну вот, дело улажено, Fat Boy остается у тебя.

Твой адвокат ничего не понял. Теперь нам не о чем запариваться». И потом знаешь что? Вместо того чтобы выставить меня за дверь, Соваж меня усаживает, и представляешь что дальше? Он начинает со мной говорить про мотики, про всякое такое, и я чувствую, что он врубается в эту тему. Он задает мне такие вопросы о моем толстом парне, которые ни в жизнь не придут в голову человеку, который рулит на «Ауди». И вот в конце концов он раскалывается и рассказывает, что у него тоже есть «Харлей», Softail Slim, тебе это ни о чем не говорит, но это крутая машина настоящего головореза, супераппарат, который ездит на суперских шинах 140/90/16. Зацени вообще, как босс, Соваж собственной персоной, выруливает на крутом байке? Бля, когда он мне сказал, что с моим парнем все улажено, я его был готов в задницу целовать. Так что потом история про его мотик и крутые шины была уже реально бонусом. Ты можешь вообще поверить в такую историю? Начальник тюрьмы на «Харлее»? Прости меня, сынок, я тебя, похоже, достал, ну я сейчас отложу личинку, если ты не против, а то у меня брюхо жуть как разболелось от всех этих волнений. А потом, если ты не против, ты можешь постричь мне волосы — думаю, на этот раз все получится.

Существует какой-то бог мотоциклистов, в этом нет никакого сомнения, какой-то тип, который, скорее всего, управляет Высшей хоккейной лигой и у которого достаточно чувства юмора, чтобы объединить в стенах одного узилища доминантного самца и его главного дрессировщика.

Ночь тиха, спокойна. Спало все напряжение, накопленное в течение дня. В таком узком, закрытом пространстве, как наше, атмосфера накаляется очень быстро в зависимости от наших негативных эмоций и наших нервных вспышек. Как при приближении грозы, воздух насыщается положительными ионами, и они влияют на нас. Но в который раз рутина повседневной жизни взяла верх, и мой сосед уснул, как ребенок, которому вернули его игрушку. Тюрьма погружена в сон, охранники и заключенные спят, только я один бодрствую, а со мной рядом опять Вайнона, Нук и пастор. Я ждал их столько, сколько понадобилось. И вот они здесь. Мои глаза широко раскрыты. Мне столько нужно им сказать. Их общество — единственное, что у меня осталось. И так будет всегда.

Как я уже неоднократно упоминал, заключение мое происходит в тюрьме под названием «Бордо», расположенной на бульваре Гуэн, на берегу реки

Прери. Отсюда до моего бывшего дома, «Эксцельсиора», рукой подать: если ругнешься громко в окошко, там услышат. И вот ирония судьбы: словно желая намертво прикрепить меня к этому району, она заставила меня встретить Вайнону на этом же бульваре, когда я прогуливался вдоль этой же реки, служившей гидробазой для нескольких маленьких самолетов, посаженных на плоты, которые по требованию осуществляли транспортировку грузов и пассажиров с одного озера на другое в радиусе 300 километров от Монреаля. Малюсенькая компания, на которую работала Вайнона, называлась Beav'Air, эта игра слов намекала на названия трех самолетов, которые они использовали: «Бивер DHC2», сконструированный Де Хэвилендом, неразрушимые маленькие одномоторные летательные аппараты, которые с 16 августа 1947 года — день первого полета самолета этой марки — бороздили небеса во всем мире, демонстрируя возможность приспосабливаться к природным факторам, в зависимости от капризов погоды используя поплавки, шины или лыжи.

Этим утром 1995 года Ноэль Александр, премьер-министр нашего здания, спросил меня, могу ли я найти время поехать на север города, в

восточный Гуин, неподалеку от острова с парком Сен-Жозеф. Нужно было встретить друга, который собирался прилететь на гидробазу в районе полудня.

В расположении базы не было ничего особенно выдающегося, оно вполне соответствовало стандартам и типам разнообразных служб, которые предоставляются компанией в сельской местности. Петля в течении реки, маленький деревянный дом для того, чтобы уладить все формальности и произвести запись, мощные понтоны, предназначенные, чтобы облегчить спуск пассажиров и упорядочить движение самолетов.

Сперва в воздухе послышался шум мотора «Пратт и Уитни», а затем показался и сам самолет, следующий с северной стороны. Он постепенно снижался, затем пролетел над гидробазой в сторону юга, потом развернулся на 180 градусов, чтобы сесть на линию воды, выставить поплавки и домчаться до берега, как огромная водоплавающая птица, которая решила передохнуть. На борту было трое пассажиров (один из которых — друг Александра, господин Нова, его три дорожные сумки, перепачканная собака и целый куст бамбуковых удочек. Пока я старался все это вытащить из кабины, чей-то голос произнес: «У

вас так ничего не получится». Это была Вайнона Мапачи, пилот самолета. Она сама занялась всем этим ворохом вещей и в идеальном порядке выставила их на берегу реки. Я смотрел, как она проверяет правильность положения самолета относительно берега, выкидывает боковой трап, забирает с собой карты и кожаную сумочку, а потом удаляется в своем темно-синем комбинезоне в сторону сторожки, которая одновременно служила социальным учреждением, перевалочным пунктом, отделом регистрации, залом для выхода на посадку и рестораном, поскольку там стоял аппарат по продаже злаковых батончиков и маффинов в целлофане.

«У вас все в порядке? С собакой все нормально? Вот ваши сумки. Все улажено, вы можете идти». Все это меньше чем за пятнадцать секунд. Не понадобилось много времени, чтобы определить, с каким типом женщины я имею дело. В данном случае я с первых же секунд понял, что Вайнона Мапачи, алгонкинка по отцу, ирландка по матери, принадлежит к категории тех, кто живет по совести, с ежеминутным пониманием того, что жизнь слишком коротка и драгоценна, чтобы пытаться ее замедлить за счет каких-то второстепенных проблем.

Логика развития событий потребовала бы, чтобы наши отношения остановились на этой стадии, на срочной высадке с борта «Бивера» на берег реки Прери, по адресу бульвар Гуин. Но жизнь, играя в свои игры, придумывает всякие хитрости, чтобы сблизить человеческие существа, которые она готова потерять. В данном случае роль сыграла рассеянность друга Ноэля Александра, которая вызвала в моей судьбе крутой поворот, приведя меня к той, что впоследствии стала моей женой. Такая вот случилась глупость: Нова оставил все свои документы, банковские карточки, паспорт и прочее в сумочке, которую забыл в домике рыбака на озере Сакакоми, возле Сен-Алексис-де-Мон, в двух километрах отсюда. А сам забрать на самолете свое имущество он не мог, поскольку его скрутил жестокий приступ люмбаго. И вот опять Александр попросил меня: не буду ли я так любезен сыграть роль почтового голубя и отправиться в Маскинонже.

Вайнона проверила, хорошо ли я пристегнулся, завела мотор, включила какие-то кнопки и рубильники на приборной панели, и мы медленно удалились от берега, а затем заняли положение ровно посередине реки. Продолжение не было похоже ни на что из того, что я когда-либо знал. Как

взлетающий дикий гусь, «Бивер» проскользил лапами по поверхности воды, а потом, по мере того как он разгонялся, вынырнул из воды и взмыл в небеса, сопровождаемый обычным шумом и тряской, присущими летательным аппаратам 50-х годов. В этот ясный весенний день Вайнона летела по наземным ориентирам, а не по приборам; время от времени самолет подскакивал, попадая в воздушные потоки с турбулентностью. Карта этой местности была выгравирована у нее в голове, и, подобно краснозобой казарке, улетающей в теплые края, она рассчитывала на свой инстинкт, который всегда приводил ее туда, куда ей было надо. Вдруг перед нами открылось озеро, словно актер, внезапно появившийся на сцене. Мы легко пролетели между островками, усеивающими озеро, затормозили у невидимого глазу ориентира, потом самолет приземлился на лапы и неторопливо заскользил в сторону берега. Шум мотора стих, слышен был лишь негромкий плеск воды о бока поплавков.

Сходни на берег, дом рыбака, заветная сумочка с тысячью и одним сокровищем мсье Нова, звуки леса, пение птиц, ощущение, что ты в нужном месте в нужное время, взгляд Вайноны, говорящий «пора», ее руки, скользнувшие в

мои карманы, прикосновение ее пальцев, мои пальцы, вцепившиеся в это чудо, шелест одежды, тесная близость тел, кожа ощущает ее кожу, мир становится совсем маленьким, мир и все его дела, все его протухшие бассейны и методы оплаты, мир швейцарцев и датчан, весь этот мир, исправность которого я проверяю каждое утро, весь этот мир исчезает ровно на столько, сколько длилось это сияние, эта вспышка света, озарившая нашу жизнь подобно сигнальной ракете.

Вайнона была склонна очень категорично выражать свои мысли и четко трактовать события. Когда она вновь натянула комбинезон и закурила сигарету, то сказала мне: «Когда я увидела, что ты сегодня утром вернулся на нашу гидробазу, я немедленно подумала: именно с этим человеком я хочу прожить всю оставшуюся жизнь. Ну все, а теперь поехали. Плотно закрой дверь и сумочку не забудь».

Вайнона отправила «Бивер» в небольшой прощальный круг по воде, затем он ловко, как гребец на каноэ, проскочил между островками, распугал небольшую сходку выдр, потревожил несколько перелетных птиц, устало болтающихся на воде, и, выровняв нос в направлении юга, взлетел, направив в сопла блока R985 Wasp Junior достаточное

количество бензина, задействовав 450 лошадиных сил девятицилиндрового звездообразного двигателя, приведя в движение двухлопастный воздушный винт Hamilton Standard, который принялся активно преодолевать сопротивление воздуха для того, чтобы доставить нас в Монреаль с сумочкой в руке и душой нараспашку.

Могу точно сказать: за все одиннадцать лет, которые длился наш странный брак, я ни на секунду, ни на мгновение ока не переставал любить Вайнону Мапачи. За этот день на берегу озера она сразу стала частью меня, я вобрал ее в себя, она живет и мыслит в моем сердце, и ее смерть ничего не изменила.

Несколько недель спустя я зашел к Ноэлю Александру, чтобы сказать ему, что он полностью изменил мою жизнь, причем два раза подряд. Сначала — когда доверил мне контроль над нашим домом-пароходом; затем — когда устроил мне нечто вроде свадебного путешествия самолетиком «Бивер» на берег озера Сакакоми. «А вы женаты, Поль?» Да, я был женат. Ну то есть все зависит от точки зрения, с которой можно оценить наш союз. С формальной стороны, ее Величество в Лондоне и соответствующий глава всего в Париже расценили бы нас просто как

«пребывающих в сожительстве» или «разделяющих ложе», что, по большому счету, не было ни позорным, ни полностью ложным. Но если бы мы предстали пред очи алгонкинского вождя Тессоуата из племени кичезипирини, нет никакого сомнения, что хотя этот великий индейский мудрец и умер в 1636 году, он объявил бы нас с Вайноной мужем и женой. Именно это пыталась мне объяснить моя сожительница, когда после некоторого периода совместной жизни я спросил ее, не хочет ли она, чтобы мы оформили свои отношения: «Так мы уже женаты. У алгонкинов нет никаких контрактов, никаких специальных клятв. Мы просто живем один с другим и один для другого. А когда двоих больше не устраивает, что они вместе, они расходятся». Вот так, при помощи четырех скупых фраз, королева Англии с ее системой общего права была спроважена на свой туманный сырой остров.

Вайнона в моих глазах представляла собой удивительный сплав двух древних миров. От матери-ирландки она унаследовала силу и готовность землю перевернуть ради своей цели, уничтожая препятствия на своем пути, создавая жизнь собственными руками. Жизнерадостная, честная и открытая, она при этом как-то инстинк-

тивно, генетически не доверяла англичанам. А от местного народа она получила способность совершенно спокойно путешествовать в нематериальный мир, чувствовать там себя как дома, быть его неотъемлемой частью: читать послания ветра и письма дождя, слышать советы в скрипе деревьев. Она выросла в окружении легенд, удивительных и поучительных сказаний о сотворении мира и древних временах; в них рассказывалось, что волки научили людей говорить, что они научили их любви, взаимному уважению, искусству жить в обществе. И еще медведи. И карибу. Они все были нашими предками, так же как орлы, и деревья в лесу, и травы на лугах. Мы едим все на этой земле — но придет момент, и она нас съест.

На самом деле, кроме нескольких целиком алгонкинских участков мозга, Вайнона была вполне прагматичной современной молодой женщиной, которая проводила бóльшую часть жизни в летательных аппаратах, разбиралась в их сложном устройстве и ежедневно проверяла их исправность и готовность к полету.

Когда я каждое утро смотрю на фотографию жены, я так и не могу разобраться, люблю ли я ирландку из Голуэя или скво из Маниваки. Подобно

величественным пейзажам Скагена при разном освещении, черты ее лица могли совершенно меняться в зависимости от того, какая кровь одерживает в данный момент верх. Утром, когда она только пробуждалась, ее медные волосы и прозрачные глаза напоминали о преданиях древних кельтов, однако в вечерние часы наступающий сумрак проявлял индейскую суровость в ее облике, в прямом и решительном взгляде. Я ловил кайф от этой двойственности: как будто живешь с двумя прекрасными женщинами одновременно, утешаясь возле одной, нежной и ласковой, когда вторая оказывается вдруг строга или холодна.

Моя жизнь в «Эксцельсиоре» сперва несколько выбилась из привычной колеи, когда Вайнона обосновалась в моей маленькой квартирке. Места, конечно, не хватало, но из-за этой тесноты мы только еще больше сблизились. Уходить рано утром, чтобы выслушать стетоскопом легкие и бронхи здания, стало, конечно, намного труднее, и возвращаться поздно, отдаваясь стремлению добавить последний штрих в и без того безупречную картину, казалось уже не столь необходимым. Стало очень трудно заботиться об «Эксцельсиоре» и о любимой женщине одновременно, холить и лелеять пару десятков пожилых

вдов и при этом обхаживать молодую супругу. Расписание Вайноны зависело от времени года — подобно тому, как здесь, в Монреале, менялись способы приземления: поплавки, шасси или лыжи. Наш день, когда мы стали парой, сделался эластичен и безразмерен, он растягивался и порой становился дольше, чем мы того желали. Но как научил меня Киран Рид, дав мне тем самым бесценный совет, я делал все от меня зависящее, чтобы в день моих похорон Вайнона могла признаться страховому агенту перед многочисленными свидетелями, что «при соблюдении неукоснительной супружеской верности» она имела исключительно «частое и полноценное сексуальное общение».

И вот как раз в первые годы нашего брака в «Эксцельсиоре» все начало меняться. Его население стало стареть. Вышедшие на пенсию собственники вступали в завершающий период жизни. Они все время теряли разные мелочи, забывали ключи, оставляли вещи на краю бассейна, беспокоились о всяких ничего не значащих пустяках и частенько могли призвать меня поздно вечером, потому что якобы услышали странный шум в вентиляционной системе. Они старели. Не все от этого умирали, но всех настигла старость.

«Эксцельсиор» медленно входил в «возраст дожития». Наступали темные времена. В 1997 году, как раз накануне Рождества, я увидел, как Сорайя Энгельбрехт, пожилая дама, живущая на пятом этаже, вышла из квартиры в ночной рубашке и уселась на кресло в холле. На улице холод превращал падающие снежинки в ледышки прямо в полете. Я как раз завершал установку праздничных декораций и иллюминации в холле: жильцы дома очень дорожили этой традицией. Я прервался и подошел к Сорайе. Она доброжелательно, даже ласково поглядела на меня, но я понял, что она меня не узнает. Я накинул ей на плечи свою куртку. «Это я, Поль. Я помогу вам вернуться домой. Вам не стоит здесь сидеть, вы простудитесь. Пойдемте, пойдемте вместе, я провожу вас». Дверь в квартиру была закрыта, я открыл своей ключ-картой. Мадам Энгельбрехт смотрела на меня во все глаза, словно я был маг и волшебник. Но потом вдруг внезапно узнала, поблагодарила и извинилась. «Мне очень жаль, Поль. Все это очень и очень грустно. Что-то я устала, надо прилечь». Мы проделали несколько шагов, которые отделяли ее от кровати, она улеглась и почти сразу закрыла глаза. Я укрыл ее одеялом, погасил свет и немного посидел возле нее в темноте.

Сорайя Энгельбрехт говорила мне, что все в ее семье умерли, и я даже не знал, кому можно позвонить, чтобы к ней пришли на помощь. Неделю спустя, тоже поздно вечером, я ждал Вайнону в холле, высматривая ее сквозь застекленную стену. И вдруг я заметил, что пожилая дама, в легком платье, босиком, переходит улицу возле нашего дома и садится на скамейку на автобусной остановке. На улице было примерно минус десять, земля заледенела. Когда она заметила меня, то с усилием привстала, протянула мне руку. «Это так ужасно, Поль. Я боюсь, что Уильям умер. Мне кажется, мой муж только что умер». Я взял мадам Энгельбрехт на руки и донес ее до входа в «Эксцельсиор». Она была легкой, как ребенок. Я отнес ее в квартиру и сидел возле кровати, пока она не уснула. Она была уже лет десять вдовой. Мужа ее звали Фредерик-Эдвард.

Этот тягостный эпизод предварял целый ряд других, подобных ему. В последующие годы эта деятельность помощника по жизни стала даже более важной, чем обычная работа по дому. Я предупредил Ноэля Александра о состоянии мадам Энгельбрехт, он связался с бюро социальной защиты, которое, согласно медицинским заключениям, отправило Сорайю в соответствующее

заведение. Я собрал ей вещи, чтобы она ни в чем не нуждалась в этом доме престарелых, и когда она уезжала, то попросила меня заходить время от времени к ней, чтобы поливать растения. Когда за ней пришли медицинские работники, я проводил ее до машины. Потом я вернулся в квартиру, чтобы закрыть все, что нужно, и захлопнуть дверь за всем, что было ее жизнью.

К счастью, в этот день я встречал Вайнону с работы. Она вышла, свежая, несмотря на то, что работала весь день, переполненная отрицательными ионами, анионами, очищающими душу, освещенная красотой волшебных пейзажей с высоты птичьего полета, бесконечно далекая от старости и больниц, бесконечно далекая от моего маленького мирка в шесть этажей, постепенно приходящего в упадок. На языке ее предков имя Вайнона означало «перворожденная». Для меня Вайнона всегда была первой и единственной.

Конец 90-х годов остался в моей памяти как период исхода, отъезда многих из прошлых владельцев, как минимум пятнадцати, у которых уже не было моральных или физических сил, чтобы жить в одиночестве, несмотря на все заботы, которые вкладывались в лужайки, в зеленые насаждения, в бассейн, поддерживающий по-

стоянную температуру, в отличную работу всей техники и коммуникаций и в вечную готовность прийти на помощь со стороны коменданта. Я частенько ходил для одних в магазин, для других в аптеку, бдительно опекая моих престарелых вдовушек, цепляющихся за жизнь кончиками лакированных ногтей. Я знал, что весь этот карточный домик рано или поздно рухнет, но когда у них начинал подтекать кран в раковине или нужно было сменить мешок для мусора в пылесосе, я мчался опрометью, чтобы скорее все наладить, а заодно приободрить их и показать, что я тут, рядом. После стольких лет работы в этом огромном доме я уже осознавал, что привязался ко всем этим людям и даже в некотором роде, как-то по-своему, полюбил их.

Перед наступлением тьмы

После встречи с директором Патрик изрядно изменился. Его больше стали интересовать события внешнего мира и особенно намерения банкиров, которые сговорились и собираются в будущем нас всех разорить.

— Бля, ты видел это, а? Опять эта история с ипотечным кризисом. Они только что подвели первый итог, во сколько обошлась эта хрень. Знаешь, сколько они денег прикарманили, облапошив американских пенсов, со своими штучками? Вот скажи мне, сколько, как ты думаешь? Ну просто предположи уже, че жмешься? А вот ни хрена не догадался, парень. 2000 миллиардов долларов. Я даже не знаю, как это написать со всеми нулями, чтобы не обсчитаться. 2000 наварили только на американских старперах, а представляешь, сколько во всем мире? Правду говорю, век воли не видать. Ты дал в рыло сукиному сыну, который это вполне заслужил, и уехал в тюрягу на два года. А эти типы надувают тебя в казино, дербанят бабло по всему миру, лезут в твою жизнь, а после этого усвистывают в Акапулько и там груши око-

лачивают да девочек снимают. Мать вложилась как-то в подобную байду, не бешеные деньги, но для нее достаточно много. И чувак из банка ей сказал, что все ухнуло в помойку. Что так произошло со всеми и он устал это повторять каждому в течение рабочего дня. В помойку ухнуло. У тебя нет случайно на примете такой помоечки?

Ничего, Патрик, ровным счетом ничего. Я никогда не вкладывал деньги в эти игральные автоматы. Мы с Вайноной жили сегодняшним днем. Работали мы, а не наши деньги. А то, что нам удавалось скопить, спало сном праведника в Банке Монреаля на улице Сен-Жак.

— А ты можешь посчитать, сколько на эти деньги можно купить «Харлеев»? 2000 миллиардов в моциках, если я найду точную цену *Fat Boy*? — Невзирая на проснувшийся интерес к происходящему в мире, неотъемлемой частью которого он задумал стать, у Патрика настал момент, когда фантастическое настигло и опередило реальное. — Что касается всяких вычислений, сложения-умножения, с этим всем я бы справился, но с нулями, отвечаю, я наглухо запутаюсь.

У Патрика мир, со всеми его кризисами и несчастьями, воспринимался, сопоставлялся и оценивался только через единственную на Земле

незыблемую ценность: мотоцикл «Харлей — Дэвидсон» модели «Жирный мальчишка».

— Знаешь, когда я читаю подобные штуки, про историю банков и всякое прочее дерьмище, я часто говорю, что раз есть столько всего, что я не понимаю во всех этих политических и экономических машинах, то не стоит и пытаться понять, уже поздняк метаться. А иногда наоборот, вроде пытаюсь разобраться, говорю себе, что чем больше я буду знать, тем сложнее будет меня обвести вокруг пальца, чтобы голосовать за какого-нибудь там или чтобы вкладывать деньги во всякую хрень. А с другой стороны, я тогда себе говорю: а что париться-то, все уже заранее решено, у меня ведь все равно нет ни гроша.

К концу лета 1999 года меня срочно вызвали: что-то случилось на берегу бассейна «Эксцельсиора». Оказывается, Ноэлю Александру стало плохо. Он лежал на земле, его глаза шарили в пространстве, словно искали, за что бы зацепиться. Я взял его руку в свою и стал говорить все те бесполезные вещи, которые приходят на ум, когда несчастье застает вас прямо посреди работы, когда вы ищете торцевую головку для гаечного ключа с трещоткой.

Я поехал вместе с ним на «Скорой помощи», не

выпуская ни на миг ослабевшую руку, которую он столько раз протягивал мне в приветствии.

Я вернулся домой уже почти ночью. В бассейне никого не было, дверь в технический отсек все еще была открыта, торцевая головка для ключа так и не найдена.

Вайнона уже вернулась с работы. На диване у ее ног, свернувшись клубочком, спала маленькая белая собачка. «Я нашла ее сегодня днем, ее бросили на берегу озера Маниту со стороны Сен-Агат-де-Мон. Она была страшно голодная, и на ноге большой абсцесс. Ей месяцев шесть или семь. Давай ее оставим. Смотри, она как маленькая волчица». Нук вообще-то не была внешне похожа ни на собаку, ни на волчицу, но это был отличный зверек, ласковый, любопытный, радостно открывающий для себя новый мир, внимательный к нашим настроениям, которые она угадывала прежде, чем мы успевали их сами определить. Собака стала неотъемлемой частью нашей жизни, в которую она вписалась с поразительной быстротой, безо всякого труда. Она радостно вскакивала в «Бивер», когда нужно было отвести рыбака к его рыбам, бежала рядом со мной на прогулках в парке Ахунтсик, а после обильного снегопада валялась в снегу, снег

забивался в ее шерсть, а когда этот дар зимы становился ей обременителен, бурно отряхивалась, оставляя за собой в морозном воздухе сверкающее облако белых хлопьев.

Нук ела вместе с нами, смотрела с нами фильмы, пристраивалась рядом с нами спать, покрутившись перед этим волчком, как заповедали ей предки, верные видовым инстинктам и законам леса.

Вечером, когда мы ждали возвращения Вайноны, Нук подходила ко мне близко-близко и просовывала голову между рукой и колеблющимися ребрами. И из этого темного логова, где было совершенно безопасно (она была в этом абсолютно уверена), она незримо и неслышно передавала мне множество истин, которые людям обычно трудно бывает сказать. Иногда приоткрывала один глаз, чтобы предупредить меня, что теперь она решила помолчать и немного вздремнуть. В этой маленькой зверюшке было столько сознательности, честности, преданности, что со временем я привык обращаться с ней абсолютно так, как если бы она была человеком, делить с ней все заботы и проблемы повседневности. И что самое удивительное, это вовсе не было как-то несуразно, странно. Я сидел в углу, Нук меня

внимательно слушала и по-своему понимала. На усилия, которые она, несомненно, предпринимала, чтобы понять человеческую тарабарщину, я по мере сил отвечал попытками расшифровать ее язык тела или разобраться в оттенках ворчания и лая. Как случалось со всем, за что я брался, после некоторого периода ученичества я стал довольно сносно разбираться в этом вопросе, и мы с ней в конце концов смогли обсуждать насущные проблемы повседневной жизни, поскольку понимали язык друг друга. Она читала во мне, как в открытой книге, я внимательно всматривался и вслушивался в нее, и у нас находилась бесконечная масса способов, чтобы выказать нежность, как всегда случается у тех, кто любит друг друга.

Ноэль Александр вернулся в «Эксцельсиор» через десять дней после того, как его госпитализировали. То, что вернула нам больница, было лишь подобием человека, хрупкой оболочкой, в которой едва теплилась жизнь. На его испещренном старческими пятнами лице остро выступали скулы, выделялись кости черепа и глазные впадины. Виски казались провалившимися, и на иссохшей шее едва угадывалось биение пульса.

Ноэля Александра привезли в «Эксцельсиор» умирать.

Я поставил специализированную кровать и капельницу рядом с окном во всю стену: через него, казалось, ветки кленов проникают прямо в дом. Медсестры приходили три раза в день, контролировали его состояние и проводили какие-то медицинские процедуры, а я днем и ночью был связан с Ноэлем невидимой нитью, которая была обязана успехам электроники столь же, сколь и душевной привязанности. Стоило ему нажать на кнопочку звонка, которая была у него под рукой, как я бросал все свои повседневные технические заботы и мчался к нему.

Время от времени звучал сигнал тревоги, и каждый раз мне удавалось создать у него иллюзию, что ему стало лучше.

И вот однажды сигнал замолк навсегда.

Все эти годы Председатель, как я его называл, стремился весь свой дух и разум вложить в наш дом, который в конце концов стал похожим на него: для каждого он создавал особый, неповторимый, благоприятный климат, атмосферу комфорта и взаимопонимания. Ему удалось совершить подвиг: соразмерить амбиции шестидесяти семи собственников, частенько движимых противоречащими друг другу желаниями и чувствами, убеждая проявлять терпимость и уважение. Он

управлял мудро и спокойно, проявляя, если нужно, смелость и уверенность в себе. И делал это до последнего своего часа.

Тысячелетие подходило к концу. На несколько месяцев раньше, чем весь остальной мир, мы вступили в иную эпоху, о которой совершенно ничего не знали, но нечто неопределимое, витавшее в воздухе, подсказало нам, что по многим параметрам она будет менее благородной, менее спокойной и менее обеспеченной, чем прежняя.

В самом конце года, 30 декабря, состоялось общее собрание собственников с подведением итогов. Но главным вопросом были, конечно, выборы нового председателя правления. Все жильцы, включая даже Кирана Рида, присутствовали на собрании и участвовали в голосовании. Трое кандидатов. Первый — Луи Анжелен, представитель старой школы, дворянчик с третьего этажа, внимательно следящий за ценами на бассейн, строго контролирующий ухоженность газона, несостоявшийся ботаник, занудный, как осенний дождь. Затем Эдуард Седжвик, made in Новая Англия, новый жилец, новая школа, новый автомобиль, новая жена, и судя по всему — новая жизнь, поскольку прежде он жил в шикарном Утремонте, а сейчас был разжалован в обитате-

ли пятого этажа дома в Ахунтсике. Первая его просьба в день заселения была такова: принести отчет с последнего заседания административного совета. И наконец, Мадлен Бригг, член элитного клуба верхнего этажа, лет шестьдесят, но в форме, безжалостно остроумная, очаровательная и непредсказуемая женщина, при этом вполне разумная и собранная, ответственная за отдел коллекций Музея современного искусства в Монреале. Всегда считала наш «Эксцельсиор» слишком скучным. Мечтала расставить в саду скульптуры Жана Тэнгли[15]. Ни на кого не похожая, совершенно неспособная взять в свои руки управление зданием и тем не менее способная чудесно организовать повседневную жизнь — вот такая Мадлен Бригг.

У каждого кандидата было десять минут, чтобы кратко представить свое ви́дение судьбы нашего дома. Анжелен, конечно же, стал делать упор на семена и саженцы, размещение комнатных растений в холле и общественных помещениях, не забыв и про стоимость отопления и содержания бассейна. Бригг прочитала нам краткий курс по истории искусства на тему «Машины, движение

[15] Примечания: 15

Швейцарский скульптор, представитель кинетического искусства, вдохновленного дадаизмом.

и шум», желая, чтобы мы прониклись ее энтузиазмом в деле усовершенствования дизайна в нашем «Эксцельсиоре», что, очевидно, означало необходимость утыкать сад произведениями Тэнгли (1925–1991). Ну или на худой конец, поскольку средств нам вечно не хватает, работами молодых канадских художников, которые усилиями правления можно приобрести за более-менее сносную сумму, да и без таможенной пошлины. Кто-то сказал: «Так мы не платим налоги и не получаем никакой прибыли». Бригг отмела аргумент, тряхнув головой, и села на место.

Он не успел открыть рот, не произнес еще ни единого слова — а я уже знал, что выберут именно его. Весь арсенал самоуверенного хлыща. Известный типаж лживого и коварного лицемера, хитрого шакала. Все наработки современности: смесь фамильярности с высокомерием, ораторского мастерства и презрения. Вот уж воистину наш человек, мы с Нук чуяли за километр этого истового подлеца, представлявшего себя как «гаранта всеобщего благосостояния, исполненного решимости бдительно и неустанно контролировать все расходы, чтобы каждый доллар был потрачен осознанно и обоснованно и чтобы это здание под обновленным руководством, чутким

и мудрым, стало нашим общим прекрасным домом». Аминь.

Газонно-бассейновая кампания Анжелена принесла четырнадцать голосов, поскольку ее сторонники были все больше старейшины с больших равнин, ностальгически тоскующие по зелени юных лет. Бригг собрала семь сторонников, в том числе я, Рид и еще пять избирателей, которые решили, что уходить из жизни лучше среди красоты. Само собой разумеется, Седжвик с его убогими клише и популистскими обещаниями собрал все остальные голоса, при одном воздержавшемся, то есть сорок шесть голосов, которые отхватил с какой-то поразительной, почти магической ловкостью трюкач, не забывший прихватить с собой кролика и шляпу. Сорок шесть голосов — сорок шесть пригоршней земли на гроб Ноэля Александра. Сорок шесть голосов, зацапанных человеком, что появился ниоткуда, и которого еще месяц назад никто не знал. Сорок шесть голосов, которые вскоре будут делать мою жизнь все более тяжелой и мучительной. Сорок шесть голосов тех, кого я в прежние времена спасал и избавлял от аварий.

Плебисцит за новые времена.

Нулевые годы XXI века и весь мир отныне при-

надлежат Эдуарду Седжвику.

К счастью, Вайнона и Нук часто вытягивали меня из этой унылой вселенной, в которой я безвылазно пребывал уже довольно давно. «Бивер» уносил нас порой на выходные на берег озера Сен-Жан, где была рыболовная база. Я обожал эти путешествия в тряской старенькой кабине, пропахшей выхлопами самолетного двигателя. Я смастерил что-то вроде мягкой удобной каски, которая оберегала от звуков нежные уши Нук. Сперва она ненавидела это приспособление и не хотела его надевать, а потом привыкла. Я бы хотел, чтобы эти воздушные прогулки длились вечно, чтобы хватило времени посмотреть на все с высоты — на деревья и воды, на землю и зверей. Казалось порой, что ты так и живешь над землей без конца и без края, которая неустанно листает для тебя каталог своих красот. Все было таким огромным, просторным: и небо, и вода, и леса, где угадывалось бурление невидимой дикой жизни, которую люди в конце концов променяли на жизнь в домах в шесть этажей, оснащенных домофонами и маленькими искусственными озерами, куда никто никогда не придет на водопой. Мы ходим по мраморным краям этих искусственных водоемов, не оставляя никаких следов, отпечатки

наших пальцев остаются только на клавиатуре электронных девайсов.

То, что я видел с борта самолета, не принадлежало никому, ни одному человеку, ни даже двоим. В этом огромном мире не было ни королевы, ни даже мэра. Царство, в котором сорок шесть голосов ничего не решают, не дают никаких преимуществ, ни могут уберечь ни от каких неприятностей. Сорок шесть голосов здесь не спасут от голода, не выведут из чащи. С сорока шестью голосами тебя учуют медведи, ты станешь добычей волков или же просто умрешь от холода.

Когда шум в «Бивере» становился таким, что уже не спасали даже наушники, мы с Вайноной начинали изъясняться с помощью знаков. У нас была своя собственная система. Когда она опускала пальцы вниз, я понимал, что мы начинаем спускаться и заходим на посадку. Это был единственный момент во время нашего путешествия, которого я побаивался. Тот миг, когда поплавки касаются воды. Хотя Вайнона показывала мне чертежи и доходчиво объясняла с аэродинамической точки зрения безопасность этого действия, я все равно опасался, что один из этих агрегатов, подобно парусам корабля, лопнет и на большой

скорости кувырнется носом вперед, увлекая за собой всю конструкцию. Поэтому, перед тем как поплавки должны были коснуться поверхности озера, я брал на руки Нук и крепко прижимал к себе, пока самолет делом не доказывал мне, что все прошло гладко, мы выжили и плавно скользим по воде.

В специализированном журнале я прочел встревожившую меня статью, подробное исследование, где прославлялись устойчивость, крепость и разные другие положительные качества этого устройства, но при этом было высказано предостережение для пилотов: «В ситуации перегрузки низкоскоростной нестабильный “Бивер”, как многим известно, может подвести, и ни один признак не укажет пилоту, что произошло отсоединение. Кувырок бывает, как правило, внезапен, и на небольшой высоте все попытки выровняться, кроме редких случаев удачи, могут оказаться роковыми».

Когда я показал Вайноне эту статью, она сказала только: «Я все это знаю. Это все знают с 1946 года. Но понимаешь, они написали про “Бивер” одну статью, а я его использую каждый день. И потом, у меня всегда с собой колибри».

Колибри — это был брелок, с которым Вайнона

никогда не расставалась. Она считала эту маленькую металлическую птичку своего рода ангелом-хранителем, способным вывести «Бивер» на верный путь. У моей жены была мистическая привязанность к этой птице, героине легенд на всей территории Южной Америки, вестнице тысячи событий, совершенно различных и противоречивых предсказаний. У народов таино она символизировала счастье и процветание, но в Бразилии при этом считалась предвозвестницей смерти, если залетала в дом.

Это крошечное пернатое создание в любом случае было загадкой природы, адской машиной, сконструированной насмешливым мастером по аэродинамике и лукавым анатомом. У птички размером пять или шесть сантиметров сердце бьется со скоростью 1260 ударов в минуту, и легкие за это же время успевают произвести 500 вдохов и выдохов. Ее крылья вращаются во всех направлениях, позволяя ей лететь вперед так же быстро, как и назад, вверх так же легко, как и вниз, и разгоняться до скорости 100 километров в час в самой невероятной позе. Она совершает 200 взмахов крыльями в минуту, и когда пикирует на лист дерева, и когда делает восьмерки в воздухе; ее перья постоянно удерживают некоторое

количество пузырьков воздуха, она имеет возможность в любой момент создать завихрения, при этом бьет рекорды в статическом полете и способна совершать самые сложные кульбиты. Кубический миллиметр ее крови содержит 6 590 000 красных кровяных телец. Кроме того, птичка способна перемещать свое тельце весом несколько граммов на расстояния до 800 километров, есть должна восемь раз в день, а когда засыпает, температура ее тела понижается до 10 градусов и сердечный ритм — до 50 ударов в минуту. Вот такому мистическому существу моя жена доверила свою жизнь и судьбу. Эта трехграммовая кроха при чрезвычайной ситуации должна подменить старый неуклюжий «Бивер» весом две с половиной тонны. И каждый раз, как я вижу брелок Вайноны, я думаю об отце: если бы моя жена поделилась с ним такими соображениями, он бы счел, вероятно, что сила веры, ежедневно испытываемой индейской женщиной высоко в грохочущем небе, была бы весьма назидательным уроком для пастора с биноклем на шее.

После визита к директору Патрик мечтает только об одном: пойти туда еще раз. Несколько дней назад он попросил об этом начальника

охраны, но на его просьбу никто не отреагировал. Тогда он сел за стол и написал Соважу письмо. Несколько раз он комкал исписанный листок и выбрасывал его в мусор, но в конце концов пришел к варианту, который его удовлетворил. Потом вложил свою маленькую тайну в конверт, запечатал и отдал охраннику, чтобы тот отнес его адресату. Через четыре дня он получил ответ. Большой конверт, в котором он нашел именно то, о чем просил.

— Бля, ну Соваж — король! Век воли не видать, этот парень — человечище! Ты представляешь, я послал ему письмо, где просил, если это возможно, прислать мне последний каталог всяких прибамбасов и аксессуаров к «Харлеям». И что в итоге: он мне и правда присылает каталог этого года! Прикинь, чувак вышел с работы и пошел мне покупать эту штуку. В семинарии он, что ли, учился, иначе не объяснить. Надо написать ему письмо с благодарностями.

Он опять уселся за стол и начал писать новое письмо. Это занятие заняло не меньше часа.

— А как начать, как ты думаешь, «Дорогой Ману» или все-таки «Дорогой месье Соваж»? Ну а че, между нами, байкерами, не такая большая разница, будь ты заключенный или тюремщик,

мы все равно похожи, у нас один девиз выгравирован на корпусе мотика, «Live to ride, Ride to live». Ману — это как-то более симпатично, более в стиле «Харлея». «Дорогой господин» — режет слух, словно ты пишешь в контору, которая тебе высылает счет за электричество. Мы все-таки так славно разговаривали вдвоем, причем довольно долго. Видел бы ты его рожу, когда он мне рассказывал про свой «Эритаж», сразу бы врубился, что он скорее Ману, чем какой-то «Месье». Ну давай, помоги мне, что же все-таки, Ману или «Месье»?

Мне удалось убедить его, что хотя второе наименование и менее крутое, менее байкерское, но зато у него есть одно преимущество — оно звучит уважительно и вежливо. И кроме того, давая твердую уверенность, что адресат не будет шокирован таким обращением, оно оставляет возможность для какой-нибудь новой просьбы. Последний аргумент решил дело:

— Ух, ну ты прям хитрый черт, ты как эти шахматисты, которые просчитывают на двадцать семь ходов вперед. Ты прав, короче. Дорогой месье Соваж, так и напишем.

Патрик не стал просить меня отредактировать содержание письма, и я опасаюсь, что байкерская натура взяла верх и фамильярное «тыканье» или

внезапное «долбаный», употребленное в наиболее хвалебном значении, могли разрушить все его усилия по соблюдению приличий.

А теперь, когда письмо с благодарностями отправлено по назначению, Патрик дотошно, строчка за строчкой, изучает свой каталог, смакует его, наслаждаясь каждым словом, каждой картинкой. Можно догадаться, что он так и сяк прикидывает, как бы пришелся каждый аксессуар на его «Жирного мальчишку», оценивает произведенный эффект, потом мысленно снимает все установленные детали и пробует другие варианты, подходящие с эстетической или технической точки зрения. Кожаные багажные сумки и новая система выпуска, руль с рогами, подставка для ног в стиле лаунж. В этот момент я знаю — он внутри своего ментального сейфа, закрыт на все запоры, недоступен и на редкость счастлив; он там один, без отца, без воспоминаний, без сведений о судимости, чистый, как девственница, и свободный от всех невзгод и проблем, и рожден он лишь для одного: жить, чтобы мчаться, или в крайнем случае — мчаться, чтобы жить.

У меня нет такого внутреннего благословенного луга, чтобы на нем бегали и плясали мои мысли. Я узник целиком и полностью. Заключенный,

одно слово. Это место владеет мной, довлеет надо мной, пожирает меня. Конечно, у меня есть мои посетители. Но в некоторые дни — поскольку мертвые устроены так же, как мы, — им вовсе неохота жить. Сегодня Нук не приходила, отец тоже не захотел. Вайнона заглянула ненадолго, но у нее не было с собой ни ключей от квартиры, ни колибри. И разговаривать ей тоже не больно-то хотелось. В этот раз лицо ее было настолько ирландским, что растворялось в брызгах океана, в заливе Голуэй и запахах реки Корриб. Однажды в Тулузе, уже не помню по какому поводу, отец строил свою проповедь, используя пример ирландского торфа, сравнивая это ископаемое вещество с уж не знаю какой субстанцией, которая расслаивает нашу жизнь. Иногда очень трудно было следовать за мыслью отца в его мистических ассоциациях.

Через четыре часа наступит ночь. Я надеюсь, что быстро погружусь в сон — маленькую норку в мозгу, куда я могу скользнуть, чтобы на несколько часов отрешиться от реальности. Когда мне это не удается, я не вижу выхода, не могу спрятаться в это укрытие, я принимаю лоразепам, который с помощью наполнителя на основе лактозы помогает урегулировать этот вопрос.

Время от времени я слышу шелест перелистываемой страницы. В этот момент я знаю, что Патрик счастлив.

Появление в моей квартире Вайноны никак не повлияло на привычки Кирана Рида. Отныне, когда у него появлялась потребность исповедаться, он просто приходил ко мне пораньше, и мы обсуждали последние новости. Он сильно негодовал по поводу избрания Седжвика, которого считал человеком без чести и совести. «Вы слышали, как он говорит? Ходячая инструкция консультанта по вопросам налогообложения. Я чувствую, он этот дом наизнанку вывернет. Знаю таких типов, по долгу службы постоянно с ними общаюсь. Косткиллеры они называются. У них в голове таблица «Майкрософт Эксель», и они все переворачивают вверх дном. Опасайтесь его, Поль. Поскольку вы суперинтендант и управляете бюджетом, вы у него на первом плане. Он будет ходить за вами по пятам, все пересчитывать, проверять вас, контролировать».

Потом зашла Вайнона, Нук радостно кинулась ей навстречу, и Киран Рид, дипломатичный, как истинный casualties adjuster, собрался уходить, проявляя при этом так мало энтузиазма, что она, конечно, предложила ему поужинать вместе с

нами. Его лицо просияло от счастья, он был бесконечно благодарен, словно человек, спасенный в чрезвычайной ситуации от страшной перспективы — провести вечер наедине с самим собой.

Моя жена с увлечением слушала его рассказы; за столом он разворачивал перед нами каталог человеческих типов с их слабостями и пороками, предлагая нам поучаствовать в обсуждении.

«У моей профессии есть огромное преимущество. Она открывает дверцу на задний двор нашего мира, на те уголки, где можно понять истинную цену человека, где люди торгуют качествами покойника, где всему назначена стоимость и все чувства и поступки монетизированы. В суде вскрываются истории, которые никогда бы не стоило знать при иных обстоятельствах, в которые порой трудно поверить, трудно уложить в голове, что такое вообще возможно. В давние времена я участвовал в деле “Форд Пинто”, не знаю, помните ли вы об этой истории. В 70-е годы Форд построил эту “компактную” машинку, ничем не примечательную, и быстро выяснилось, что у нее есть серьезный базовый дефект в конструкции. Слой металла на оболочке бензобака был слишком тонким, и при любом ударе сзади эти машины загорались. Сто восемьдесят человек

заживо сгорели в своих автомобилях, еще сто восемьдесят получили тяжелейшие ожоги и семь тысяч автомобилей сгорели дотла. Столкнувшись с такой системной проблемой, глава компании запросил у своих сотрудников исследование, чтобы оценить стоимость необходимых модификаций. В ответ аналитики не замедлили предоставить ему доклад, озаглавленный: “Пинто”: стоимость/преимущества”: оказалось, что сумма возмещения убытков семьям пострадавших значительно ниже, чем та, которую необходимо затратить, чтобы организовать замену резервуаров всех проданных автомобилей “Пинто”. Форд положил этот доклад куда-то в помойку, и его клиенты продолжали раскатывать на дымящихся “Пинто”. До того дня, пока не разразился настоящий скандал, который заставил фирму обнародовать свои вычисления и признаться, что был сделан неверный выбор. Форд тогда достал чековую книжку и урегулировал вопрос, выделив по 200 000 долларов за каждую жертву, по 67 000 долларов каждому пострадавшему от ожогов и 700 долларов за сгоревшую машину.

Дело “Пинто” было только верхушкой айсберга торговых отношений, этого инфрамира, в котором жизнь совершенно реальных людей из плоти

и крови оценивалась исключительно посредством рациональных вычислений. Помнится, несколько лет назад в американский сенат попытались внести поправку по всем этим вопросам. Там, помимо всего прочего, говорилось, что использовать долларовый эквивалент при оценке значимости жизни, когда необходимо вынести решение, является “глубочайшим оскорблением религий и этических представлений, общепринятой морали жителей этой страны”. Вдобавок авторы поправки указывали, что использование расовых критериев, факторов, учитывающих материальное положение пострадавшего, хронические заболевания, возраст или инвалидность, тоже должно быть запрещено. После того как по поправке проехался каток лобби страховых компаний, она была отвергнута и отправлена в измельчитель бумаги. Я могу предположить, Поль, что вы мне скажете, что эта параллель неочевидна, что мое мнение грешит предвзятостью, но такой тип, как Седжвик, я совершенно не шучу, вполне легко мог быть автором доклада “Пинто”: стоимость/преимущества”».

А в это время Нук, зарывшись мордочкой мне в бок, в очередной раз беззвучно рассказывала историю о том дне, когда огромная птица с мо-

тором коснулась лапами поверхности озера, и из нее вышла индейская женщина, обманчиво похожая на ирландку, подошла к ней, протянула руку, дала несколько печенюшек, присела рядом с Нук, все еще дрожащей от страха, усталости и лихорадки, осмотрела ее воспалившуюся рану, погладила по спинке, подняла на руки и посадила рядом с собой в кабину самолета.

На этом месте своего рассказа Нук вытащила на мгновение мордочку из безопасного уютного укрытия, посмотрела на меня, и могу ручаться, что она сказала мне: «И вот представь, в этот момент я была настолько измучена, что сразу уснула, невзирая на шум мотора».

Рид похвалил прекрасный ужин и поблагодарил Вайнону за прекрасный вечер «в семейном кругу». Я вполне понял, что хотел сказать адъюстер, но столь внезапное установление моей квартиры в качестве домашнего очага и обозначение этого нового родства показалось мне несколько преждевременным.

Внутри какого-нибудь сообщества, как например многоквартирный дом, несчастье воцаряется, как правило, не сразу, а поэтапно. Несколько месяцев оно бродит по этажам, открывая дверь за дверью, сперва поражая самых слабых, ввергая

в уныние тех, кто еще на что-то надеется, потом в одночасье меняется до неузнаваемости вся улица, весь квартал, несчастье вслепую вершит свою жестокую работу. У нас этот процесс занял примерно год. К концу 2002 года все возможные неприятности и болячки посыпались на «Экс-цельсиор» — на механизмы, деревья, людей.

Все началось со страшной ледяной бури, парализовавшей город дней на десять как минимум. Напору ледяных дождей уступило все: столбы, электрические кабели, телефонные провода, трансформаторы выходили из строя один за другим, и вся страна погрузилась во тьму. Лишенные центрального отопления дома быстро превращались в холодильники. Жители пытались согреться в ванных комнатах, сидя в непосредственной близости от ванны с горячей водой. Здание питалось от двух видов энергии: электричество для центрального отопления и газ для общей системы нагрева горячей воды. Жильцы, одетые в пальто и закутанные в одеяла, похожие на деревенских жителей, бродили по коридорам и холлам в поисках информации и утешения. Лифты не работали, поэтому старики сидели по своим квартирам и не выходили, я старался приносить им продукты. Самые смелые ходили

на работу, потом хвастливо описывая внешний мир, заледенелый, украшенный огромными сосульками, свисающими с крыш и деревьев. Все стало совершенно нереальным. А потом наступал вечер и черная, черная ночь. Повсюду. Словно в жизни погасили свет. Иногда в темноте слышно было, как скрипит ветка, ломаясь под весом льда, и осколки разлетаются по застывшей земле. Большая желтая береза в нашем саду, не способная больше выносить свой морозный кокон, начала гнуться, а потом раскололась надвое, словно под точным ударом небесного топора. К концу мучительной недели свет в нашем квартале потихоньку восстановился. Мерцающие огоньки надежды загорались тут и там в ледяной тьме. «Эксцельсиор» покамест был погружен во мрак. Я целыми днями сновал в магазин и обратно, чтобы снабдить продуктами моих вдов и тех жильцов, что постарше. Все это приходилось делать пешком, по улицам и тротуарам, представляющим собой сплошной каток. Пакеты, лестницы, спуск, подъем, долгие объяснения, что я ничего не могу сделать с отсутствием электричества, повторение долгих объяснений о том же; потом надо разблокировать входную дверь, посыпать дорожки к гаражу и подступы к зданию песком, обесточить

все электрические и электронные системы, сбить иней со всего, что заиндевело, отпилить сломанные ветки березы. Утешить Вайнону, поскольку ее самолет в такую погоду не мог летать, успокоить и согреть Нук, которая не могла понять, что же такое происходит у больших белых людей.

Мне кажется, наш дом подключили к электропитанию одним из последних в квартале Ахунтсик. В одно прекрасное утро двери лифтов снова открылись, загорелся свет, заработали все системы, поглотители вновь начали поглощать все, что нужно. От провода к проводу ток вновь побежал по розеткам и приборам, жизнь вновь воцарилась при температуре в 21 градус, которая была обозначена собранием собственников как наиболее подходящая для комфортного существования данного вида.

Ненастье принесло убытки и неприятности, но, помимо этого, ослабило немолодые организмы. Меньше чем за неделю четыре машины «Скорой помощи» останавливались возле дома, чтобы отвести в больницу наших жильцов: у двух вдов была двусторонняя пневмония, еще у одной шестидесятилетней дамы — подозрение на инфаркт, а четвертым был месье Сибелиус, очаровательный персонаж — явно пожилой, но на вид без

возраста, весь — дитя нескончаемого XX века, неутомимый пловец, который при каждой нашей встрече делал мне комплименты по поводу «текстуры» воды бассейна. Он сломал шейку бедра, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре напротив нашего дома. За весь этот период, который был для всех и лично для меня очень тяжелым, я ни в одном коридоре или углу здания не заметил и тени нашего администратора, которого совершенно не волновало ни состояние жильцов, ни состояние техники.

В самом конце зимы, после долгой агонии, вызванной кислородным голоданием, одна из вдов, жертва пневмококка Эдмонда Кларенс тихо угасла ровно в тот момент, когда медсестра проверяла, нормально ли работает кислородный аппарат. Ее дочь прибыла в «Эксцельсиор» несколькими минутами позже, но самое ужасное уже произошло.

Все эти события тихо копились в моей душе. Я видел, как разваливается на куски наше маленькое сообщество, а поскольку я находился в самом его центре, мне приходилось во всем участвовать, и это было нелегко. Так что настал мой черед время от времени стучать в дверь Кирана Рида, чтобы излить ему все свои горькие наблюдения

и неутешительные выводы.

Я старался держать Вайнону на некотором отдалении от этого маленького мирка, который ничего для нее не значил — просто общество собственников жилого здания, которые, если поразмыслить, в ее лесах так долго бы не продержались на этом свете.

Сколько зим было пережито здесь, в этих стенах. И весен, и лет.

Время текло, и я привыкал смотреть на людей только с крыши нашего здания или со дна бассейна. Проходили годы, и ремесло образцового служителя распускало мои дни, как старый свитер, нитку за ниткой.

Начало июля ознаменовалось целой серией технических проблем, которые словно нарочно объединились, чтобы появиться одновременно и выбить из колеи налаженное хозяйство нашего дома. Началось все с лифтов. Двери открывались и закрывались, но кабина не трогалась с места. Повреждена была коммутационная плата, отвечающая за механизм подъема и спуска всего устройства. Вслед за этим (очевидно, вследствие разрывов, вызванных зимним обледенением) двигатели экстракторов начали перегреваться и раскаляться. Для того чтобы их починить,

приходилось сидеть на крыше, что в это время года было равносильно сидению в аду на горячей сковородке. Буквально несколько дней спустя вышли из строя все системы электронных ключей от входных дверей в здании. Вечером, когда я вернулся в квартиру после изнурительного рабочего дня, раздался звонок. «Что здесь происходит, Поль? Здесь все неисправно. Люди звонят мне и жалуются. Вы чем здесь занимаетесь, вы вообще контролируете ситуацию? Нужно все починить как можно скорее. Мне сказали, что вы собираетесь менять все экстракторы. Нам это будет стоить целое состояние, между прочим. Чтобы к концу недели вы предоставили мне все чеки. Люди, которые занимаются электронными замками, уже пришли? Нет, нет, Поль, надо срочно их восстановить, проявите настойчивость, я же не буду в конце концов заниматься этим за вас». Седжвик. В своем репертуаре. Седжвик, распекающий своего управляющего, вправляющий ему мозги и напоминающий, кто здесь начальник.

Худшее событие этого мрачного года произошло в первую неделю августа. Чтобы поправить угол фасада на уровне пятого этажа, я обратился в специальное предприятие, которое прислало трех каменщиков, чтобы они восстановили обли-

цовочную кладку, поврежденную льдом. Неделя работы. Рабочие установили трубчатые леса. Метеослужба предсказывала возможные кратковременные дожди, а в целом погода вроде бы намечалась для стройки вполне благоприятная.

В этот злополучный день, ближе к полудню, я стриг косилкой газон перед главным входом. И тут, несмотря на то что был в каске, несмотря на резкий звук, издаваемый машинкой, я услышал крик.

Он лежал на земле в странной, изломанной позе — казалось, человеческий скелет не способен так вывернуться. Он еще дышал, но с огромным трудом. Я не решился трогать это тело, словно лишенное костей. Я взял его за руку — сколько раз за этот год мне приходилось делать это с разными людьми… Сверху, с лесов, строители закричали мне, что он упал. Они кричали мне, перегибаясь через страховочные поручни, с высоты пятнадцати метров над землей. Я немного знал того, кто лежал на земле. Когда они только прибыли, мы обменялись с ним парой фраз. Он, помнится, рассказал мне, что живет в Лавале и каждый день тратит целый час, добираясь на работу по трассе Декари. Такая вот беседа в самом начале строительных работ.

Я вызвал «Скорую помощь», не отпуская его руки, и продолжал шептать ему какие-то бесполезные слова утешения. Сколько раз я так вот сидел с больными и умирающими за последнее время… Позже Седжвик безапелляционно заявил мне, что это не входит в обязанности коменданта. Потрясенные каменщики смотрели сверху на эту сцену. С каждым вдохом человек на земле захватывал все меньше и меньше воздуха. Цвет его лица странно изменился, его рука, которую я по-прежнему держал в своей, судорожно вздрагивала. Хотя он лежал в такой неестественной позе, что, казалось, двигаться в ней невозможно, он все же попытался приподнять голову, широко раскрыл глаза и сказал первые слова, слова еще живого человека: «Моя собака дома одна». И все было кончено. Затылок вновь коснулся земли. Казалось, что он смотрит вверх, на своих товарищей, стоящих на лесах.

Несмотря на бесполезность всех спасательных мероприятий, прибывшие врачи попробовали и массаж сердца с дефибрилляцией, и вентиляцию легких. Они делали то, чему их научили, всю эту работу, которая осуществляется в сумраке, предшествующем полной тьме, и которая порой оживляет мертвых.

Тем, кто потом уносил тело, я передал последнее послание усопшего, и сделал это достаточно настойчиво. Его собака одна дома. Надо кого-то предупредить. Молния на похоронном мешке застегнулась до конца, и человек, разбитый на кусочки, не вернется домой через пробки на шоссе Декари.

В 21 час Седжвик постучал в мою дверь — громко и властно, как судебный пристав. Он не спросил меня, ни как упал этот человек, ни страдал ли он, умирая, ни нужно ли кого-то предупредить. В руке он держал заключение страховой компании, и ему нужны были точные сведения о моей степени ответственности в случае несчастного происшествия на работе, произошедшего с посторонним подрядчиком. Когда он добился желаемого, он немного расслабился. «Если я правильно понял, Поль, все в принципе урегулировано. Мы чисты. Хорошо. Больше мы тут ни при чем. Всем будут заниматься страховщики начальника этого умершего парня. Но в любом случае нам нужно сделать выводы из этой истории. Всегда следует проверять условия работы и степень ответственности предприятий, с которыми мы заключаем договор подряда. А почему вы выбрали именно их, скажите мне?

Сколько раз они на нас работали? Так, три года за десять лет. Ну, с сегодняшнего дня вы можете вычеркнуть их из списка подрядчиков. А кстати, работа закончена? Нет-нет-нет, вы им позвоните и скажете, чтобы поторопились закончить стройку в назначенный срок. Если у них умер человек, это грустно и всякое такое, но пусть как хотят находят решение, заменят его кем-то, в конце концов».

Седжвик. Неистребимый гауляйтер. Пламенный мерзавец.

После этой истории я окончательно понял, что этот человек мне отвратителен и общаться с ним невозможно. Киран Рид и десяток других жильцов скинулись, чтобы купить цветы, и отправили меня, чтобы я отнес их на похороны каменщика. Рид пошел со мной, и мы, кучка незнакомцев и та самая собака покойного, собрались на кладбище Лаваль. Я возложил на могилу цветы. Имя усопшего было выгравировано на табличке. Жером Альдегери.

Два дня спустя Седжвик вызвал меня к себе. Он был вне себя от ярости из-за того, что я ходил на похороны. И он, подобно феодальному землевладельцу, строго отчитал своего вассала. «Нужно прояснить эти вопросы раз и навсегда, Поль. Я не

плачу вам за то, что вы ходите на похороны или половину рабочего дня бегаете по поручениям жильцов, изображая соцработника. Я должен напомнить вам, что ваша работа заканчивается у порога квартиры. И это дело каждого собственника — разбираться со своим состоянием здоровья или невозможностью вести хозяйство. Для этого есть соответствующие организации и благотворительные общества. Ваша работа — поддерживать хорошее состояние здания, а не людей, которые здесь живут. И вы не имеете права предпринимать ни одного действия по личной инициативе, не предупредив меня. Например, ходить на похороны к рабочему, который работал у нас меньше недели. Вам нужно следить за системами коммуникации, садом, чистотой общих помещений, гаражом и бассейном — вот и следите. Вам что, этого мало? Что касается бассейна, еще один пункт, требующий отдельного урегулирования: как и обозначено в вашем контракте, ни вы, ни ваша жена не имеете права им пользоваться. Будьте любезны донести это до мадам Хансен. Что касается вашей собаки, в коридорах здания ее нужно брать на поводок. И она не имеет права появляться в саду. В общем и целом вывод таков: патронажу конец, вы вновь выполняете

исключительно функции суперинтенданта, за которые я вам плачу достаточно большие деньги. Каждую неделю вы будете предоставлять мне детальный отчет обо всех ваших расходах, и мы будем решать, какие позиции можно сократить или вообще убрать. Я хочу, чтобы это здание было функциональным двадцать четыре часа в сутки из двадцати четырех. И жители его, в каком бы они ни были состоянии, не должны отвлекать вас от главной задачи. Что касается меня, я был избран для того, чтобы гарантировать идеальное состояние «Эксцельсиора», и уж поверьте, с сегодняшнего дня я буду неусыпно следить за вашим рабочим графиком и за каждым долларом, который вы потратите».

Я вышел, чувствуя, как раздавлен и унижен этим разговором. И понимая, что грубые, резкие ответы на его выпады нисколько не помогли мне вернуть чувство собственного достоинства. Вечером я рассказал все Вайноне и Риду и сообщил им, что собираюсь уйти в отставку. Они попытались меня утешить, успокоить и отвлечь, переводили разговор на другие темы, потом мы съели по кусочку пиццы, и мы с женой ушли погулять с собакой, побродить по улицам в теплой летней ночи.

Буквально на следующий же день случайность, судьба или беда, уж не знаю что из них, безапелляционно и категорично напомнила всем, что именно она царит в здании, что она является хозяйкой нашего времени. И что бы там ни думал Седжвик, с ней придется считаться.

Месье Селигман жил с женой в квартире на третьем этаже. Он прежде работал в электрической компании «ГидроКвебек». Он любил много разных вещей: бублики, пастраму, паштет из печени, хоккей, еврейские анекдоты и особенно свой внедорожник «Лексус». Два раза в неделю, в понедельник и в пятницу, он спускался в гараж, отвозил свой автомобиль на нашу мойку, задергивал шторку и в течение часа занимался косметическими и санирующими работами. Он пылесосил коврики, обрабатывал маслом кожу сидений и натирал до блеска все, что способно блестеть. А я проверял систему подачи горячей воды в нескольких шагах от этого прекрасного места, источника автомобильной чистоты.

Когда он увидел меня (я стоял на стремянке), то прервал работу и подошел, чтобы поздороваться и немного поболтать. В частности, он не мог удержаться и рассказал мне анекдот, которых у него всегда было полно:

«Один человек играл в гольф с тремя раввинами, которым удавались потрясающие удары, а у него, наоборот, ничего не выходило. Он спросил у раввинов, в чем секрет. И они ответили: “Все очень просто, мы постоянно ходим в синагогу и истово там молимся”. Человек отправился в ближайшую к дому синагогу и начал там истово молиться. Он ходил туда каждое утро, целый год благоговейно обращался к Богу, умолял его, чтобы тот сделал лучше его удары, но играл по-прежнему плохо. Он вновь встретился с тремя раввинами, столь же блестящими игроками, и объяснил им, что несмотря на молитвы и весь сердечный пыл, который он в них вкладывал, он так и не стал играть лучше. Раввины посовещались и один из них спросил: “А если не секрет, в какую синагогу вы ходили?” Человек ответил: “В ту, что в Утремоне”. Раввин улыбнулся: “Ну тогда понятно, что вам не помогло, она же помогает с теннисом”».

Довольный произведенным впечатлением, во весь голос хохоча над собственной шуткой, Томас Селигман, который, казалось, окружен аурой благородства и оптимизма, лукаво шепнул мне: «Следующий анекдот завтра, Поль, завтра обязательно расскажу».

Иногда мне кажется, что жизнь выбирает меня для странных поручений. Например, мне пришлось много раз в течение одного года быть свидетелем последних слов людей, с которыми я общался и которым доводилось расстаться с жизнью в моем присутствии.

Меня встревожила мощная струя воды из моющего пистолета, которая билась в брезентовую шторку. Я подождал несколько секунд и пошел посмотреть, что там творится.

Селигман лежал в пенной струящейся луже воды, перемешанной с моющим средством. Глаза его были прикованы к неоновым лампам на потолке.

Я подскочил к нему и решил на свой страх и риск начать делать непрямой массаж сердца. В гараж въехала машина, из нее вышел человек и направился прямо к нам. Это был Седжвик. Он обнаружил, что я не занят своими прямыми обязанностями, а стою на коленях рядом с телом и неуклюже пытаюсь реанимировать старика, вернуть его к нам, ведь скоро шаббат, ведь он еще не закончил свою работу. Администратор стоял как громом пораженный, не пытаясь помочь, не проявляя никакой инициативы. Я прорычал: «Вы умеете это делать? А? Так умеете или нет?»

Он отрицательно покачал головой. Я сказал ему: «Звоните в “Скорую”. Быстро! Быстро, черт подери!» Он достал телефон, набрал номер и, растерянный, бесполезный, стал ждать, когда кто-нибудь ответит.

— Я тут увидел по телику потрясающую штуку. Документальный фильм про Темные века. Ты вот знаешь, что это такое? Вот тоска-то, парень! Они говорят, что началась вся эта хрень триста или четыреста тысяч или миллионов лет назад, уж не помню, я вечно в этом путаюсь, это как с нулями в той истории про пенсионеров и ипотеки, по сути нет особой разницы. В любом случае, после того главного взрыва, когда все ухнуло, и небо, и Вселенная — все погрузилось в полную темноту. Черную-черную, сплошняком. Представляешь себе атмосферку? Ни жизни нет, ни хрена нет. Бля, как посмотришь на все это, отпадает охота умничать. Становится понятно, что мы откуда-то не отсюда. А ты когда-нибудь пытался словить бесконечность? Бля, у меня ни в какую не получается. Штука, которая не кончается — ну никак такое в голову не ложится. Ведь обязательно должен где-нибудь быть конец! Просто там еще никто никогда не был. Да вот только когда подходишь к краю, в голову лезет, что ведь есть что-то

за краем, что-то после конца? Бесконечный конец? И видишь, все сначала…

Иногда Патрик возвращается после своих телевизионных кампаний дико взбудораженный, его аж трясет. Особенно когда он смотрит научно-популярные передачи, которые отслеживает с маниакальной тщательностью. Иногда, когда он подвергается бомбардировке разнообразной информацией, до цели долетает лишь шрапнель. Вот, например, недавно он смотрел что-то такое о метеорологии и механике сплошных сред; естественно, в качестве подтверждения был приведен классический пример о бабочке, взмахнувшей крыльями в Монреале и вызвавшей тайфун в Тайбэе.

— Ох, совершенно сумасшедшая штука, представляешь? После такого и двигаться-то стремно становится. Я, конечно, понимаю, это просто такой фокус, чтобы понять, как система работает, что все между собой связано, но все равно, лучше поменьше дрыгать крылышками, а то мало ли что. Вот я понял, парень, что должен был бы делать, если бы не был таким мудаком. Учиться. К тому же мне нравится узнавать все эти штуки — про мир там, про погоду и вообще. Ведь и правда, когда это посмотришь, становишься

как-то образованнее. Ну впрочем, после матча «Монреаль Канадиенс» с «Бостон Брюинз» ты, конечно, чувствуешь себя не таким продвинутым, но зато знаешь, что классно поразвлекся, да? И вот мне что пришло голову, парень. Раз я сейчас так хорошо расслабился, давай-ка попробуем меня постричь.

Последняя попытка, предпринятая после первого визита Патрика к Соважу, потерпела неудачу. Я, как хирург перед важной операцией, раскладываю инструменты на столике, а пациент занимает место на табурете. Он снимает с волос черную сетку. Ножницы погружаются в густую массу и тихонько, самыми кончиками, пытаются продраться сквозь нее. Когда они немного усиливают напор, Патрик начинает задыхаться, и я прекращаю работу. «Бля, ты делаешь как моя мать. Точно как моя мать». И нежненько, незаметненько лезвия снова принимаются за дело, скользя по волосам, не дергая их, проходя по краю, срезая так тихо, что пациент это даже не замечает. Пол вокруг табурета уже ковриком устилают состриженные пряди. У меня действительно создается ощущение, что я делаю важное дело, создаю великое произведение, успешно соперничаю с мастерством любящей матери и

создаю ее сыну новый облик, свежий и молодой.

— У тебя получилось, чувак! Бля, мы сделали это! Ох, как здорово. Для меня это такая же круть, как Темные века или тот фокус с бабочками. Прям готова прическа, а мне даже не захотелось на землю прилечь! Первый раз в жизни так. Глупо, конечно, но у меня слезы на глазах, вот поверь.

Я беру щетку, чтобы подмести с пола тяжелую массу волос.

— Нет-нет, не трогай, я сам уберу. — Заботливо и тщательно Патрик собирает волосы, складывает их в маленький полиэтиленовый пакет, затягивает кулиску и кладет его в секретную коробку у себя под кроватью.

Самолет, трактор и ожидание

Каждая воздушная эскапада, совершенная совместно с Вайноной и Нук, давала мне необходимый резерв счастья, выдержки и смелости, чтобы выдерживать тягостные перипетии моей работы. Обстановка в здании стала удручающей, недоброжелательность и подозрительность, исходящие от главы правления, распространились по всем этажам. Мало-помалу все стали следить друг за другом, проявлять бдительность, скрупулезно контролируя выполнение каждого пункта регламента, каким бы абсурдным и непродуктивным он ни был. Из года в год выступления на общих собраниях становились все более придирчивыми, мелочными, клеветническими, все больше свар возникало по тем вопросам, которые раньше считались совершенно незначительными. Мне приходилось отчитываться перед собранием о причинах тех или иных расходов, соображениях, которыми я руководствовался при выборе подрядчиков, о каждом пункте счета, который ими выставлен. Люди, которые за всю жизнь и носа не совали в техническое обеспе-

чение здания, интересовались потребностями нашего электролизного аппарата в граммах соли на литр воды, чтобы сопоставить эти результаты с моими заказами хлорида натрия на год. На эти вычисления они тратили мучительные и долгие часы.

Начало 2000-х годов было подлинным расцветом этих бюрократическо-обывательских упражнений, в которых, казалось, каждый старался стать чемпионом. Один из самых ярких и выразительных эпизодов — и без сомнения, самый забавный — это случай с фантиками от конфет. Несколько раз во время утреннего обхода я замечал яркие фантики, которые валялись по всему третьему этажу. Самое интересное, что на следующее утро новые целлофановые обертки заменяли предыдущие. И еще несколько раз в неделю. Я убирал их изо дня в день, не слишком задаваясь вопросом, какому обжоре пришла в голову идея сеять эти бумажки. Через восемь дней был произведен новый посев, но на этот раз фантики уже валялись на всех этажах и даже в лифтах. Тогда мне пришло в голову пересмотреть записи видеокамер, чтобы выявить зловредного шутника. Результат оказался обескураживающим. На видео два жильца, Хьюго

Масси, шестьдесят шесть лет, и его сосед по этажу Дориан Вест, пятьдесят восемь лет, торговец автомобилями. Оба недавно поселились в нашем доме. И вот эти два солидных джентльмена, как утренние призраки, бродят сначала по своему этажу, а потом и по всему зданию, разбрасывая липкие фантики. Шалуны начинали свой поход каждое утро около 5.30, как можно было видеть по временно́й метке в углу кадра. Думаю, в это время они могли быть уверены, что никто их не заметит и можно пакостничать спокойно. То есть эта парочка старых засранцев были готовы встать на заре, чтобы совершить свое черное дело. Но с какой целью? Подловить меня, испытать или дискредитировать в глазах других жильцов, если вдруг я не успею собрать их мусор? Эти придурки просто-напросто забыли, что существуют камеры, системы наблюдения, за содержание которых они, между прочим, платят каждый месяц. Я сбегал в ближайший супермаркет и купил два больших пакета конфет. На каждый я прицепил записку: «Спасибо за потрясающее видео. Ваш консьерж» — и поставил подарки возле обеих дверей.

С этого дня коридоры обрели первоначальную чистоту и все следы неумеренного потребления

сладкого исчезли с поверхности нашей маленькой планеты. Когда в коридорах мне приходилось пересекаться с Вестом и Масси, они здоровались со мной с явно пристыженным видом. И я наслаждался этим, как гурман конфеткой.

Рождество 2005 года. Впервые за долгое время я покинул «Эксцельсиор» на целую неделю. В это время года многие жильцы уезжают на юг, на пляжи Кубы, Флориды или Мексики. Они ехали туда, чтобы напитаться солнечным сиянием, ослепительным светом, которого было так мало в зимней Канаде. Рид же уехал на праздники в Бостон, к некоей подруге. Я так и не смог окончательно понять, какую роль она играла в его жизни.

Чтобы провести вместе эти несколько дней отпуска, Вайнона сняла для нас шале на берегу озера Фрезер, к северу от Национального парка Ла-Мориси. Дом был утепленный, пригодный для жизни в любое время года. Она еще взяла у фирмы на неделю один из «Биверов». Самолет сменил поплавки на зимние лыжи и мог скользить, как камень для керлинга, по заснеженным дорожкам. Когда я видел, как моя жена управляет самолетом, моя любовь к ней становилась еще больше. Больше всего на свете я любил часы,

проведенные с ней в воздухе. Я любовался ее мастерством, ее спокойствием в ситуациях, когда самолет начинало трясти во всех направлениях, ее искусством вновь возвращаться на выбранную траекторию, держаться курса, невзирая на шквальный ветер, и потом сажать самолет со мной и Нук на землю со всей деликатностью и осторожностью, на которую только могла быть способна эта старая деревенская развалина 1947 года выпуска. На воде и в воздухе, на льду и среди туч Вайнона, казалось, наделена теми же качествами, что и ее маленький дружок колибри, способный сорваться с места в мгновение ока и лететь в любом направлении. Как и сердце птицы, ее сердце могло адаптироваться к обстоятельствам каждого момента, то ускоряясь в страстном порыве, то замедляясь в соответствии с требованиями разума. Было невероятно легко любить такую женщину, просыпаться вместе с ней, засыпать возле нее и чувствовать, что один лишь этот прекрасный миг уже означает конец Темных веков. Моя жена была одновременно плащом, палочкой, кроликом и шляпой. Как одна и та же женщина могла управлять самолетом, любить меня, спасать собаку, выдерживать жизнь в «Эксцельсиоре», бороздить снега и воды,

верить в могущество маленькой птицы и давать каждому вокруг себя радость бытия и ощущение небывалого счастья? Вот уж не знаю.

Полет на север в Рождество 2005 года принадлежал к тем моментам благодати, которые иногда выпадают в человеческой жизни. Несмотря на страшный мороз, видимость была кристальной и возникала иллюзия, что мы видим, как арктический мираж, земли Нунавута. С высоты 3000 метров зимний Квебек напоминал огромное ватное одеяло. Бесчисленные озера на этой территории полностью исчезли подо льдом и снеговыми заносами. Это белое безмолвие было величественно и грандиозно, но при этом делало весьма сложным любое ориентирование, и я мысленно спрашивал себя, каким таинственным способом Вайнона находит путь посреди этого огромного белого холодного пломбира. Техническое оснащение «Бивера» казалось мне скорее рудиментарным, оно было больше приспособлено для ручной навигации, чем для полета по приборам. Но ее, казалось, это вовсе не заботило. Время от времени Вайнона оборачивалась и смотрела на хвост самолета, как, очевидно, делала бы колибри, замыслив какой-нибудь маневр. Через два с половиной часа полета самолет

резко пошел в пике, затем выровнялся и начал спускаться уже по более плавной траектории, снизился над девственно-белой равниной, ничем не отличающейся от остального пейзажа, легко, без тряски, приземлился на лыжи и покатил, оставляя в снегу длинный след, легкий и ласковый, как поглаживание. Когда мы остановились, я увидел большой, основательный бревенчатый дом. Из трубы шел дым. Нук выскочила из кабины и принялась скакать по сугробам. В доме было тепло и уютно, казалось, обитатели ушли из него всего несколько минут назад. На столе в центре комнаты душистая рождественская свечка источала запахи меда, яблока и корицы. Такие вот рождественские чудеса, на которые Вайнона была мастерица. Когда мы с Нук и моей индейской волшебницей расположились в доме, я бы не слишком удивился, если бы небольшая стая волков, тех самых, которые научили нас говорить и вести себя в этом мире, постучала в дверь, чтобы выпить с нами по стаканчику за приезд. Эта женщина была совершенно необыкновенной, она любила, думала, рассуждала, анализировала, понимала этот мир с первого взгляда, и я думаю, что за долгие годы совместной жизни ни разу не видел, чтобы она достигла предела своих знаний

и возможностей. В эту ночь я обнимал ее, пока сон не сморил нас, а Нук в это время охраняла, отслеживая огонь, дверь, свечку и странные шумы, которые производят человеческие существа, когда предаются эксцентричным развлечениям, которые, с ее точки зрения, совершенно непонятны.

Эта неделя выстроила нашу жизнь, поборола нашу усталость, залечила раны, помогла нам понять, кто мы и откуда. Вайнона была ближе связана со своими лесами, чем я со Скагеном или с улицей Ломбард. Она каждый день взирала сверху на историю своей жизни, на свою землю, пока я старел под гнетом «Эксцельсиора», напитываясь его ядами. Однако я не жалею об этой жизни, которая, конечно, ничем выдающимся не отличалась, но мне вполне подходила.

Когда появлялось свободное время, Вайнона уводила нас с Нук погулять в лесу, показывала мне следы зверей, которые она узнавала с первого взгляда, учила меня ориентироваться в этом ледяном лабиринте, прислушиваться к шуму ветра или дальнему крику зверя. Я понимал не все, но старался поспеть за ней, зато Нук прокладывала нам дорогу в снежном лесу и послушно следовала всем молчаливым указаниям, которые

отдавала ей моя жена. Я любил этот мир, скупой на слова, неусыпно-внимательный, мир, где ум подпитывается вновь пробужденными древними инстинктами, рефлексами и наблюдениями, которые спасали людей в ту эпоху, когда они еще не научились разговаривать.

Вайнона вечером рассказала мне о своих родных — они поразъехались кто куда, и она с ними практически не виделась. Она вспоминала о жизни алгонкинов до того момента, как явились европейцы, чтобы разгромить в пух и прах все законы, правила и верования старого мира и навсегда разрушить преемственность поколений. Отныне каждый год вечером 24 декабря индейцы вольных племен пели рождественские гимны, перед тем как отправиться на мессу. *Gloria in excelsis deo. O Holy Night. Тихая ночь.*

Она рассказала мне удивительную историю своего дяди Наторода (на его родном языке это означало «Маленький Гром Сына Земли»). Все вокруг, впрочем, называли его Нат. Он жил в довольно малолюдной местности с женой и тремя детьми. Семью надо было кормить, и он не нашел другого решения, кроме как пойти туда, где предлагали работу. Сперва он стал шахтером на Юконе, потом работал на плантациях табака,

потом взял в аренду 50 гектаров и занимался скотоводством и земледелием, но денег по-прежнему не хватало. Тогда он устроился дальнобойщиком в транспортную компанию, отвечающую за сообщение между Торонто и Ванкувером. Рейс длился четыре дня, времени на отдых было очень мало. В день выхода на пенсию Натород отдал ключи от фуры и вернулся в семью. Но он чувствовал, что стареет, и знал, что теперь, когда его дни, можно сказать, сочтены, каждый миг становится драгоценным. И однажды утром понял, что час настал.

Тихий, спокойный голос Вайноны неторопливо, одну за другой, раскрывал двери этой истории. «Дядя собрал всю семью и сказал следующее: “Я работал для вас всю свою жизнь. И это нормально и естественно. Но сейчас я — старый человек, и я решил сделать кое-что для себя, для себя одного. Я решил пересечь Канаду на своем стареньком тракторе — от Тихого океана до Атлантического. Восемь тысяч километров наедине с моим стареньким “Джоном Диром”. Это займет столько времени, сколько понадобится”. Затем Нат заказал своему другу транспортировку трактора в Хорсшу-Бэй, близ Ванкувера. Там он отвез трактор на берег, сдал назад и сделал так, чтобы задние

колеса омочились в воде Тихого океана. Потом он повел трактор на запад. За четыре месяца, двигаясь со скоростью десять-пятнадцать километров в час, в зависимости от погоды и от местности, он рулил, желая выяснить, “что же представляют собой дороги и жители этой страны”, но еще и потому, что хотел “сделать что-то, что никто до меня не совершал”. Во время этого путешествия с ним происходили самые необыкновенные приключения, а также злоключения. Прибыв практически на другой край земли, в город Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд, дядя остановился ровно в тот миг, когда колеса трактора коснулись воды Атлантического океана. И тут интуиция подсказала ему еще одну необычайную идею. Поскольку он не хотел бы, чтобы хоть кто-то подверг сомнению его рассказ, он попросил свидетеля описать увиденное событие, подписаться и поставить дату. Хотя этот документ не имел никакой юридической силы, он был самой памятной, самой дорогой для него вещью в жизни. И он часто говорил об этом столь важном для него свидетеле, мистере Хотчинге, я хорошо запомнила его имя. Много лет спустя он привел меня в свой гараж, туда, где стоял его старый компаньон и сообщник “Джон Дир”, приподнял брезент на этажерке и

достал две бутыли с водой. На одной большими буквами было написано “Тихий океан”, а на другом — “Атлантический океан”. Он показал мне эти два сосуда и сказал: “Это я наполнил их водой, на двух противоположных концах этой страны”. Глаза его наполнились слезами. Вот такая история путешествия моего дяди Ната».

У меня создалось впечатление, что Вайнона захлопнула большую книгу с картинками, волшебную сказку, которую рассказывают детям, чтобы им снились хорошие сны. Без сомнения, это была самая трогательная, самая поучительная история из всех, которые я когда-либо слышал.

«А знаешь, что произошло в день его похорон? Выполняя его последнюю волю, его дети ровно в тот момент, когда гроб опускали в землю, подошли к могиле и вылили в нее эти две бутыли».

В доме слышно было только тихое дыхание камина, время от времени смолистая ветка потрескивала в огне, словно он хотел что-то сказать. На улице начался обещанный синоптиками буран. Вайнона надела онорак, меховые сапоги и растворилась в ночи, в белых завихрениях снежинок, чтобы проверить, хорошо ли закреплен «Бивер». Она приняла там какие-то меры безопасности, а потом неторопливо, как бы нехотя,

словно жалея, что не может остаться на улице и насладиться кружением снежных хлопьев, вернулась в дом. Нук зарылась мордочкой мне под мышку, а Вайнона на ходу поцеловала меня, а я все думал о дяде Натороде, потревожившем волны двух океанов, и о том, как однажды они расступились у него на пути.

— Поскольку мой суд уже скоро, я хочу спросить твоего совета. Вот как ты думаешь, может, правда лучше похитрее действовать, признать себя виновным? Э, ты только не подумай, что я действительно сделал что-то в этом роде. Я невинен как младенец. Но при этом я-то знаю, что у этих судей мозги набекрень, и вот я подумал, что ты, может, придумаешь что-нибудь подходящее для меня. Не, не думай, я не имел в виду, что у тебя тоже крыша съехавшая, нет, конечно, но ты же хитрый, ты просчитываешь ходы, всякое такое, и поэтому можешь на все по-умному посмотреть.

Во мне живет тайная уверенность, что Патрик отправил своего приятеля-доносчика к праотцам и сейчас ищет способ как-то выпутаться из скверного дела, в котором он занимает довольно важное место.

— Признаться виновным ведь может также и тип, который просто много знает об этом деле,

имеет к нему отношение, но не более? Вот объясняю тебе: что во всей этой истории про убитого правда? Я общался с ним, это да. Я знал, что он стукач, это факт. Я навешал ему люлей, это тоже верно. До этого момента все так и было. Но потом — стоп. К тому, что произошло после этого, я не имею никакого отношения. Когда ему всадили в голову девять граммов, я был уже далеко оттуда. Слушай, да если так можно сказать, дома у себя! Ну десять минут заняла дорога. Так как я могу быть под подозрением? Вот тут-то и возможно использовать фокус — признаться виновным в том, что случилось, в самом начале истории. Это как называется у юристов, когда признаешь себя виновным в половине обвинений?

В свете того, что рассказал мне Патрик по поводу своего дела и свидетельских показаний, которые в нем фигурируют, я думаю, что «признать себя наполовину виновным» — формулировка, насколько я знаю, в судебной практике не применяющаяся, означает, если применить хортоновскую терминологию, «постебаться над судом».

— По сути дела, кроме двух-трех ерундовых штук, у них против меня мало что есть. Если применю мой фокус, я предложу им путь к

отступлению, это выражение постоянно употребляет мой адвокат. Он говорит мне: месье Хортон, всегда надо предоставлять судье путь к отступлению, иначе он начнет быковать. Ну и я проделываю что задумал, услуга за услугу, признаюсь во всякой ерунде — и судья приговаривает меня к сроку, который я уже отсидел. Мы пожимаем друг другу руки и — чао, крошка! Что ты об этом думаешь? Я лично думаю, что все правильно. Особенно если ты знаешь, что во всем, кроме люлей, я абсолютно неповинен.

У Патрика не лучшие дни, в такие периоды целые сонмы паразитирующих идей и мыслей загромождают его мозг, лишая способности здраво рассуждать и принимать разумные решения. В этот момент лучше всего позволить ему выпустить пар и подождать, пока спадет давление. Этому принципу было бы неплохо последовать и мне в тот роковой день в «Эксцельсиоре», когда моя жизнь покатилась под откос — несмотря на то, что на суде я не нашел в себе присутствия духа признаться даже в том, что «виновен наполовину».

Начало 2006 года было для меня настоящим испытанием. Как и предупреждал Киран Рид, после нескольких лет притирки на новом месте

косткиллер вошел в полную силу, проверяя там, сокращая сям и вводя бесчисленные бесполезные поправки в параграфы внутреннего регламента, которые с момента его вступления в должность множились и видоизменялись, по объему начиная напоминать телефонный справочник. Мы теперь жили не в доме, не в здании «Эксцельсиор», а в каком-то странном деспотическом принципате, где принцепс решал все единолично. Что самое странное — большинство обитателей добровольно и охотно подчинялись всем капризам нашего домашнего монарха, а я стал всеобщим козлом отпущения, притом что был главным по расходованию королевской казны. Седжвик, одержимый идеей экономии, постоянно упрекал меня, что я приобретаю слишком много соли для бассейна, слишком много хозяйственных товаров для уборки и поддержания приборов, не следую дотошно всем указаниям по содержанию и срокам эксплуатации, прописанным в инструкциях газонокосилки, ставлю термостат на слишком высокий уровень подогрева, не соответствующий температуре, определенной административным советом, выношу мусор слишком рано, приношу назад мусорные баки слишком поздно, не всегда держу собаку в коридоре на поводке, когда

выхожу с ней на прогулку. Мне было так стыдно получать все эти замечания, что я старался скрывать их от Вайноны и не осмеливался поговорить об этом с Ридом. Думаю, Седжвик считал на двадцать семь ходов вперед и явно давно задумал такую стратегию: он специально вынуждал меня подать в отставку, чтобы заменить своим ставленником из числа подрядчиков.

Работа по поддержанию рабочего состояния и ремонту всех систем здания, которая долгие годы была для меня источником глубокого удовлетворения, радости искусного мастера, хорошо выполнившего свою работу, отныне представляла собой лишь серию процедур, выполняемых вслепую, без очевидных перспектив. Мне больше не хотелось ни о чем спорить, я только тупо выполнял указания путевых листов, которые неуклонно вели наш принципат к эре упадка.

Я больше не реагировал на личные просьбы, которые не входили в «круг моих профессиональных обязанностей». Жильцы предлагали мне денег, чтобы я исправил мелкие поломки, которые раньше чинил бесплатно. Отныне я имел право только вежливо отказаться и перенаправить их к мастеру по ремонту. В большинстве случаев они очень плохо воспринимали от-

каз, затаивали обиду. Из любезного камергера царствования Александра я превратился в сварливого консьержа под управлением Седжвика. Я еще ни о чем не подозревал, но с начала этого года для меня был открыт обратный отсчет.

Все это не шло ни в какое сравнение с тем несчастьем, которое навсегда уничтожило лучшую часть меня самого, которое и поныне так же невыносимо, как и в первые дни. Вечером, после того как все случилось, я, как ни странно, думал только об одном человеке, мне были необходимы его утешения, его объятия — это был мой отец Йохан Хансен, пастор, фамилию которого я ношу. Я помню, что в этот вечер я вслух обратился к нему с просьбой, которую никогда не решался произнести, пока он был жив: «Папа, в этот раз мне нужна твоя помощь». Я не знал, мог ли он что-то с этим поделать, но надеялся на чудо, которое спасет нас от этого бедствия, и мы поймем, что все закончилось, что ничего на самом деле не случилось, что мы все вернемся домой, вместе поужинаем, и воспоминания об этом жутком дне постепенно угаснут в нашей памяти.

В субботу, 12 августа 2006 года, Вайнона встала рано утром. Я не знаю, поцеловала ли она меня, как она обычно делала, когда уходила из дома

первой. У нее была встреча в 8 часов на гидробазе, ей предстояло отвезти трех рыбаков и их снасти на берег озера Мистассини, возле Шибугамо, в двух с половиной часах полета на север от Монреаля. «Бивер» стартовал в 9.00 с поверхности реки Прери, и самолет поднялся в воздух, а на борту его, как часто случалось, было несколько человек, возбужденных предстоящим мужским междусобойчиком, везущих в багаже дополнительные запасы тестостерона, пива, мотыля и живца, необходимые для победы над рыбой.

Прошел день, наступил вечер. Если в полете была связь, Вайнона обычно заранее звонила мне и рассказывала, когда она приземлится, какая метеорологическая обстановка и когда она рассчитывает прийти домой. Около 20 часов, не имея от нее никаких известий, я забеспокоился и позвонил Прадье, управляющему компании «Beav'Air», который сказал мне, что ждет самолет, но и сам не располагает никакой информацией.

Спустилась ночь, зажигая одно за другим высокие здания по берегам реки, разомлевшей от тепла в своем зеленом летнем уборе. На востоке догорали огни заката, а я сидел как на углях, вне себя от тревоги. Не было ни одной разумной или объяснимой причины, почему Вайнона до сих

пор не вернулась. Вообще-то ее возвращение было запланировано на 17 часов. Если она никого не предупредила, значит, что-то случилось. Около 22 часов Прадье мне сообщил, что ему удалось связаться с одним из рыбаков, который подтвердил, что Вайнона высадила их около полудня и в 13.30 отправилась в сторону Монреаля. Он добавил только: «Полагаю, надо звонить в службу, которая организует поиски».

Я провел ночь во мраке и ужасе, сидя на диване и сжимая в руке телефон. Нук жалась к моему боку. Впервые в жизни она даже не притронулась к еде. В своем неотвратимом движении тяжелый каток времени безжалостно раздавил все крупицы надежды, которые у меня еще оставались. Когда забрезжил новый день, я вдруг остро почувствовал, что Вайнона мертва, что все кончено, что моя жена никогда не вернется и что в этот раз колибри потеряла свою власть, свои быстрые крылья. В какой-то момент телефон прозвонит, голос произнесет: «Месье Хансен?» — и будет абсолютно все равно, что он скажет.

Рид, который услышал новость по радио, пришел ждать известий вместе со мной. Он ничего не говорил, только приготовил кофе, который мы пили с ним в тишине маленькими глотками.

Вертолет и военный самолет патрулировали воздушный коридор, по которому предположительно проходил маршрут «Бивера». Безрезультатно. В понедельник поиски были остановлены сильнейшей летней грозой, сопровождавшейся ураганным ветром. Я выходил из квартиры только для того, чтобы собака могла справить нужду, и мы возвращались в свою пещеру сидеть наедине со своей болью и страхами. Нук практически ничего не ела. Она, обычно такая жизнерадостная и энергичная, уже, казалось, облеклась в невидимый траур. Не отходила от меня ни на шаг — скорее не для того, чтобы успокоиться самой, а чтобы утешить меня. Я запускал пальцы в ее длинную шерсть, сжимал ее крепко-крепко, чувствовал, как ее сердце бьется под моими пальцами. Я не мог ничего сделать, только зарывался лицом в ее пушистую шубку, говорил, что люблю ее, и плакал. Я знал, что Вайнона мертва. Она погибла, когда «Бивер» упал и разбился. Ее тело похоронено вместе с самолетом на дне озера. Или она сгорела заживо во взорвавшейся кабине. По сути дела, я не хотел знать никаких обстоятельств, поскольку за этим следовало медленное восстановление деталей драмы, целый список вопросов про состояние

тела, степень сохранности лица, целостность костей, повреждения кожи — и прежде всего невидимые черные ящики памяти, которые не поддаются расшифровке: мысли, ужас, паника, боль и мука в те самые секунды, когда начинаешь понимать раньше остальных, что человек и собака принадлежат к другому миру, к тому, где верят всякой ерунде о могущественной силе птиц, о терпении и разуме волков, о благоволении богов, о дрессировке церковных кроликов и о безопасности самолетов, хотя каждый знает уже очень давно, что они «время от времени ведут себя предательски, глохнут на низкой скорости и завестись повторно способны лишь в ряде случаев, и это может оказаться роковым».

Я не хотел обо всем этом думать, держать в голове эти бессмысленные вопросы, эти бесполезные гипотезы, псевдоученые заключения и длинные слова, которые лепятся одно к другому, чтобы обмануть ожидание, наскоро соорудить стену судьбы между собой и грядущим известием, причем всем известно, что когда придет роковой час, он одним махом снесет эти хлипкие укрепления.

Информация появилась во вторник около полудня. В дверь позвонили. На пороге стояли двое полицейских из королевской жандармерии

Канады.

«Мы пришли рассказать вам о результатах поисков. Обломки самолета были найдены сегодня утром около 8.30 утра возле Кедрового острова на озере Кемпт, час полета от Монреаля. Очевидно, самолет пытался осуществить экстренную посадку, но она прошла неудачно. На месте работает команда специалистов, чтобы извлечь тело вашей жены из самолета. Она, к сожалению, мертва. Мы уведомим вас, как только отвезем ее тело в Монреаль. Нам действительно очень жаль. Очень грустно и очень жаль».

Двое полицейских стояли напротив меня. Я попытался им что-то сказать, но не смог. Что-то выскочило из меня, уносясь во всю прыть, и улетело вперед, что-то, что я хранил с самого детства, какая-то часть меня, и с тех пор она так и не вернулась. Я просто смотрел на полицейских, пытаясь опереться правой рукой на одного из них, потому что мир обрушился на меня всем своим весом и раздавил, я не мог больше стоять прямо и медленно осел к их ногам.

В морге я подумал, что все причастные сделали все возможное, чтобы я мог узнать изуродованное тело Вайноны. Мне показали только ее обезображенное страданием лицо, я не отвел взгляд, я

остался возле нее, чтобы выгравировать в памяти каждую частичку того, что мне оставило несчастье, и когда сердце мое готово было взорваться, вышел из комнаты.

Рид, тоже постаравшись помочь, сумел связаться с членом семьи Вайноны. Этот человек откликнулся и приехал. Он представился мне как какой-то дальний родственник со стороны отца. Мы совершенно ничего не знали друг о друге, и нам было практически не о чем говорить, кроме самого главного. «Когда мы узнали обо всем, что произошло, мой старик-отец сказал: “Езжай туда и спроси у этого человека, согласен ли он, что мы заберем тело этого ребенка на свои земли и похороним его здесь, дома, по нашему обычаю”. Вот что он сказал. И я приехал к вам, чтобы сообщить об этой просьбе».

Я не знал, чего хотела бы моя жена, и вообще, нет ничего более бессмысленного, чем пытаться думать за умерших. И тогда я прислушался к своему сердцу, и оно сказало мне: да. Вы можете увезти ее на родину, к своим. Но я не поеду с вами на север. Вы сами отвезете туда ее тело, приготовите его к погребению и похороните по вашим обычаям. Я даже дам вам ее птицу, и вы похороните их вместе. А мне пусть останется

все остальное. Одиннадцать лет ослепительного счастья, одиннадцать всепоглощающих лет на земле и на небе — и все благодаря невероятной дочери второго младшего брата вашего отца. Она была такой сильной личностью, что рядом с ней всегда хотелось держаться прямо и гордо, в заснеженном лесу и в летнюю грозу. Везде я следовал за нею. У нее был удивительный дар пробуждать в людях самое лучшее. Я отдаю вам это тело, разбившееся в самолете, но все остальное я оставляю себе. У каждого свое наследство. Ужасно его делить. Везите осторожно.

На протяжении всей недели после того дня, как был найден самолет, я сидел запершись в квартире. Я ни одной секунды не занимался «Эксцельсиором». Ни один жилец не появился у моей двери. Никто не зашел узнать, как мои дела. Чтобы хоть как-то отвлечь меня от мрачных мыслей, Рид рассказал мне, что Седжвик собственноручно прикнопил новую инструкцию (дополнение к первоначальному распоряжению), регулирующую пользование шезлонгами, «которые не должны оставаться на газонных покрытиях сада после использования».

Влажная августовская духота проникала повсюду. Вайнона, очевидно, уже была под землей.

Эта мысль была для меня невыносима. Порой мне хотелось прыгнуть в машину и поехать туда, чтобы забрать ее у индейцев. Но в другие моменты я представлял, как она мирно идет среди своих, среди духов предков, рассказывая всякие вещи: например, что там, где она могла различить двадцать четыре вида снега, белый человек видел всего лишь «снежные заносы».

Нук ходила за мной по пятам; если бы она могла, она бы попыталась жить во мне, жить за меня. Мы выходили гулять ночью и долго бродили по окрестным улицам и по парку Ахунтсик. Когда жара была особенно сильной, а воздух удушливо-влажным, как часто бывает в это время года, собака бежала вперед и останавливалась на опушке парка, где был бассейн. Она трепетала от нетерпения и смотрела на меня в упор своими карими глазами, которые спрашивали: «Можно? Ведь можно?» Я подходил к ней, ласкал ее внимательную мордочку и отвечал: «Давай!» Одним прыжком Нук погружалась в воду, стремительно плыла от края до края, как будто где-то там, внутри бассейна, от этого зависела жизнь утопающего. В эти моменты мы с ней испытывали в глубине души похожее странное чувство — ощущение, что к нам обоим на мгновение вернулись

радость и счастье.

Возвращение в Скаген

Каждый час, каждый день работы в «Эксцельсиоре» стал для меня тяжкой обузой. Я по-прежнему залезал на крышу, совершал обход здания, инспектируя все и вся, слушал гудение роторов и взвешивал соль на точных лабораторных весах, как делают за кулисами высокой кухни. Седжвик ожесточенно проверял книгу расходов, создавал бесчисленные формуляры и везде развешивал свои предписания. Киран Рид, который вышел на пенсию, все больше и больше времени вечерами проводил в моей компании; он пытался утянуть меня то в индийский ресторан, то на аргентинский фильм. Но по-настоящему успокаивало меня только одно: когда после работы меня встречала Нук, прыгая и радуясь моему возвращению так, словно я вернулся из далекой полярной экспедиции.

Я иногда думал о господине Зелигмане, задаваясь вопросом, есть ли где-нибудь в этом городе синагога, ответственная за совершенствование мастерства вдовцов, по образцу тех, с гольфом и теннисом, такая синагога, где раввин придер-

живался бы философии хортоновского типа: «Жизнь, она как лошадь: если она сбрасывает тебя, ты стискиваешь зубы и тотчас же забираешься назад».

Вопреки всем ожиданиям, в 2007 году именно работа помогла мне выпрямить спину, обрести немного чувства собственного достоинства, начать борьбу с авторитарным бредом Седжвика. Однажды зимой, работая все воскресенье с утра до ночи в подвале, я сумел восстановить подачу горячей воды во всем здании. В середине августа я семьдесят два часа занимался бассейном, принимал различные меры, использовал все возможные способы и в итоге мне удалось спасти 230 000 литров воды от протухания, а всех собственников от мучений, связанных с невозможностью искупаться: компания, которая устанавливала новую систему, чуть было не спустила все в канализацию. За несколько месяцев, к большому разочарованию того, кто считал, что со мной уже покончено, я вновь стал чудотворцем, эдаким Эдвардом Руки-Ножницы, который подрезает деревья, как по струнке, укрощает канализационные трубы и оживляет мертвую воду.

По вечерам я возвращался в квартиру и резко

опускался на землю, дверь открывалась, и я видел разоренный, заброшенный с 12 августа 2006 года дом. Я готовил какую-то еду, и мы с Нук сидели бок о бок и разделяли трапезу, каждый носом в своей миске.

Зима 2008 года была, без сомнения, одна из самых снежных в истории этой страны. В провинции Квебек выпало два с половиной метра снега за зиму, и в Монреале столько же. Мне иногда приходилось включать нашу маленькую снегоуборочную машинку два раза в день, чтобы разблокировать входы и главную дорожку «Эксцельсиора». Чтобы проверить мои заветные экстракторы, нужно было проделывать целые тоннели в снегу на крыше, необходимые тропы, которые тоже приходилось каждый день расчищать лопатой. Единственным существом, радующимся снегу, была Нук, которая на прогулках в парке Ахунтсик больше не стремилась к бассейну, а каталась в сугробах, штурмовала снежные горы и иногда даже исчезала в них, появляясь внезапно не пойми откуда и мчась ко мне со всех ног.

Да и лето этого года было экстремальным. И по температуре, и по влажности воздуха. Создавалось впечатление, особенно по ночам, что

ты живешь под влажным душным покрывалом, тушишься на медленном огне в собственном соку. Вся вторая половина августа прошла в таких условиях, и Рид решил удалиться к подруге из Бостона, у которой к тому же было какое-то жилье на Рексхэм-Бич, на берегу океана. Иногда он звонил мне поздно вечером, и один только звук его голоса производил для меня эффект глотка свежего воздуха.

Однажды ночью, не в силах сдерживаться, задыхаясь в своей маленькой квартирке на первом этаже, я натянул плавки и, воспользовавшись тем, что в два часа ночи все жильцы спали, направился в темный бассейн (на ночь мы выключали систему освещения).

Я вошел в воду, мою воду, которую я поддерживал в рабочем состоянии и приводил в порядок столько лет подряд, мою воду, обработанную солью, прошедшую электролиз, с бережно лелеемым уровнем Ph, в воду, возле которой я проводил столько дней, а часто и ночей, отслеживая ее биологическое равновесие и постоянную необходимую температуру 84 градуса по Фаренгейту, почувствовал, как она обволакивает мою талию, потом плечи и спину, как обвивается вокруг шеи, покрывает голову. Впервые за двадцать с лиш-

ним лет, которые я работал здесь, я погрузился в территорию блаженства, которая была мне все же запрещена уставом. Я плавал под водой, задерживая дыхание и вовсю наслаждаясь этим чудеснейшим купанием. Я любил эту воду и чувствовал, что она тоже любит меня. Ее «текстура», как частенько говаривал месье Сибелиус, была легкой, практически воздушной, словно внутри роилось множество микроскопических шариков с кислородом. Время от времени я выныривал на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, прежде чем вновь погрузиться в глубины, с которыми мне приходилось столько работать. Впервые за все эти годы я нарушил правило — и это было великолепно.

Я вернулся в квартиру, захватил с собой Нук и искупал ее в ножной ванне. Потом мы немедленно уснули, освежившиеся, счастливые, как двое маленьких воришек после трудного рабочего дня.

Спустя два дня я получил записку от Седжвика: «Поль, у вас на завтрашнее утро назначена встреча с поставщиками? Позвоните им и отмените. Я прошу вас явиться завтра в 10 часов в актовый зал. Я назначил внеочередное собрание комитета и всех собственников по поводу пункта регла-

мента, касающегося вас. Завтра, в 10 часов».

Я так думаю, пришли все. Жильцы со всех этажей. Из всех квартир. Одинокие, семейные пары, люди разных возрастов и поколений. Седжвик восседал во главе в окружении двух своих верных асессоров, готовых следовать за ним хоть на край света. «Здравствуйте. Это собрание посвящено важнейшему пункту регламента, который нарушил наш суперинтендант Пол Хансен. В ночь со вторника на среду, около двух часов ночи, несмотря на то что его контракт недвусмысленно запрещает такую возможность, он тайком искупался в нашем бассейне. Камеры наблюдения зафиксировали это правонарушение. И словно проявленного неуважения к регламенту ему было недостаточно, он через некоторое время после своего купания вернулся в бассейн в сопровождении своей собаки, которую он погрузил в ножную ванну». Словно ледяной зимний ветер, прошелестел неодобрительный гул. Постепенная деградация нашей публики под воздействием новой политики главы правления была очевидна. Седжвик продолжал обвинительную речь на своем суконно-канцелярском языке: «Содеяв это, месье Хансен, вы совершили грубую профессиональную ошибку, тем самым расторгнув

в одностороннем порядке ваш контракт, и, что еще более важно, не оправдали возложенное на вас высокое доверие нашего коллектива. Погрузив вашу собаку в нашу ножную ванну, вы, помимо этого, пренебрегли элементарными правилами гигиены, которые я установил для пользования бассейном, и подвергли всех наших собственников неоправданному риску. Исходя из вышеизложенного, ваш договор считается недействительным, и я запрашиваю вашу отставку. Вы завершите работать в конце сентября, получите все, что вам причитается, и сдадите ключи от служебной квартиры. Прежде чем представить вопрос на голосование, спрашиваю вас: можете ли вы что-то сказать в свое оправдание, месье Хансен?» Как я слышал порой в церквях, где служил мой отец, небольшая толпа издала невнятный шелест, который мог быть как выражением сочувствия, так и неодобрительным ворчанием.

Ну что тут можно сказать, ответить или добавить, после того как услышишь такие вещи, такую изысканную смесь лицемерия, ханжества и коварства? Более двадцати лет честной службы, ненормированные часы работы, нечто вроде рабского служения, со всей этой уборкой

на этажах, копошением в саду, битвой за воду, сражениями с зимой, конфетными фантиками, помощью больным и немощным, реанимациями, соборованиями, погребениями — все это пошло псу под хвост из-за одного ночного купания.

В глубине комнаты возник голос, голос Йохана, сильный и звучный, как в лучшие годы; этот голос, проникающий в души шахтеров, крепнущий и перекрывающий взрывы на шахтах; этот голос кричал с трибун и достигал ушей лошадей на скачках, и они вырывались вперед; этот голос я слышал с самого рождения, слушал всю жизнь, он всегда был со мной; этот голос и сегодня был здесь, чтобы взять клинок и начать рубить всякую глупость, злость и невежество, наказать мерзавцев и идиотов, изничтожить подлецов и хамов — и спасти меня, утопающего.

Мне, конечно, хотелось бы, чтобы Киран Рид в тот день приехал из Бостона. Он-то, конечно, вступил бы в битву против всей толпы, нашел бы множество аргументов. Но нет, никакой борьбы, даже намека на борьбу; никто не пожелал защитить меня. Почти единогласно (только четыре голоса против) было решено, что мне дается тридцать дней, чтобы собрать манатки, воспоминания, собаку и остатки человеческого

достоинства и погрузить их в фургон для переезда. Я вышел из зала, так и не сказав ни единого слова. У меня было впечатление, что мой мозг заперт на замок, что он не способен произвести какую бы то ни было мыслительную деятельность, только тайно генерирует невыносимое чувство стыда. Весь этот день, как тухлая отрыжка, во рту крутилась лишь одна фраза, из которой все было ясно, повторялась и повторялась. Это была фраза из учебника по истории, принадлежавшего отцу, в котором католический епископ, известный высокомерием и презрением к людям, рассказывает о сопротивлении в среде низшего духовенства и советует воображаемому собеседнику быть жестче и безжалостней с нижестоящими: «Ты увидишь, человеку свойственно покоряться».

В конце собрания Седжвик сказал мне: «Конечно же, Поль, в этом решении нет ничего личного, просто есть правила, которые мы все должны соблюдать». И удалился в сопровождении своей преторианской свиты — должно быть, вершить какой-нибудь другой суд в мире охранителей и крючкотворов, задача которых состоит в том, чтобы отслеживать, фиксировать и подвергать наказанию всех консьержей, решивших жарким летом искупаться в бассейне.

Я продолжал выполнять свои обязанности, по вечерам регулярно складывая свои пожитки в коробки — таков уж мой характер. Нук, которая силилась понять, к чему все это, с некоторым беспокойством обнюхивала их.

Как-то в жаркий, душный день я заканчивал работы в одном из уголков сада и тут увидел Седжвика. Он спешил ко мне со всех ног, и сразу было заметно, что он в ярости. На мне была шумозащитная каска, поэтому первые его вопли я не расслышал. Но сняв ее, я понял причину негодования: «Сколько раз можно повторять вам одно и то же, вы что, вообще не понимаете? Вы головой думаете или чем? Вас уже выставили с работы за грубое нарушение, но не прошло и трех дней — вы за старое! Вы совсем идиот, что ли?» Конечно. Конечно, я был идиотом, поскольку выдерживал этого человека так долго. И я был вдвойне идиотом, потому что ни капельки не понимал, что же именно сейчас вызвало у него такую бурю гнева. «Посмотрите, где ваша собака, Хансен! Она лежит в траве! Возле кленов!» Нук лежала возле деревьев в укромном уголке, развалившись в тени: она пыталась уловить хоть чуточку прохлады. Видимо, она выскользнула за мной из квартиры и не смогла прочесть табличку с регламентом,

а ведь в нем были строчки, регулирующие не только жизнь людей, но и жизнь их домашних животных! Седжвик продолжал возмущаться и сказал что-то еще, что внезапно разбудило во мне древнее воспитание, которое дали людям волки. Он сказал: «Уберите отсюда это долбаное животное! Я не хочу больше видеть его в нашем доме! Ясно вам? Вон, оба вон, как можно скорее!» И вот в этот самый миг волки показали мне дорогу. Я набросился на администратора, свалил его с ног и покатил по траве к самому бортику бассейна. Потом, помнится, я бил его, бил безоглядно, со всей дикой яростью волчьей стаи, я два раза услышал (или почувствовал) хруст ломающейся кости и озверел еще больше, вплоть до того, что начал кусать его, кусать за плечо, вгрызаясь поглубже, чтобы вырвать зубами кусок мяса. Я держал во рту кусок Седжвика, и у него не было никакого вкуса, разве что тошнотворный душок дурной крови. Я слышал, как он вопит и стонет, он требовал чего-то, что я не мог больше ему дать, вроде как пощады, жалости, милосердия или еще чего-то подобного, что можно найти в книгах по Закону Божьему. Он умолял меня о чем-то, звал, само собой, на помощь, призывал своих охранников, свою армию, но никто не спешил ему на

помощь. Я дотащил его до воды и, сплетясь, как два резвящихся купальщика, мы рухнули в воду. Он отбивался изо всех сил; его волосы колыхались в воде, как водоросли под действием течения. Я медленно притапливал его, глядя прямо ему в лицо сквозь толщу моей родной воды, а она только и ждала момента, чтобы ворваться к нему в легкие и изгнать оттуда все следы воздуха. На поверхности угадывались какие-то силуэты, они метались туда и сюда, приглушенно слышался голос Нук и лай всей волчьей стаи. Время перестало ощущаться, оно не двигалось — казалось, в мире существует только вода и клубящиеся токи крови из раны на плече нашего хозяина, выгрызенной моими зубами. Он отбивался так, как это делают животные, которые хотят жить, когда люди пытаются утопить их, потому что те перестали быть им нужны. Долгие годы я так безотчетно бился в стенах этого губительного, патогенного здания, которое постепенно лишило меня всего. Но на этот раз я и наш хозяин оказались в одном бассейне, который был мне запрещен, и бились на равных, как два вольных волка, и значение имел только запас воздуха в легких, которого пока хватало, чтобы еще несколько мгновений продержаться живым, этих драгоценных мгнове-

ний, которых ждешь и боишься всю свою жизнь, последних мгновений, таких все же горьких и безнадежных, поскольку, кроме обманчивых перспектив «теоремы Хортона», ничего, кроме долгого и мучительного процесса утопления, абсолютно ничего не ждало потом, ничего не должно было начаться снова.

Откуда-то сверху тела попрыгали в воду, вцепились в мои руки, обхватили мое тело, отодрали меня от Седжвика и обездвижили на земле у бортика бассейна. Потом уже я стал отбиваться, как пойманное в ловушку животное, выкрикивая в воздух свою боль и свою ярость — и потом, в одно мгновение, вдруг наступила темная непроглядная ночь.

Я пришел в себя лишь на следующий день в палате больницы «Скорой помощи», предназначенной для пациентов, находящихся под арестом. Пришел доктор, осмотрел меня — а спустя некоторое время пришел другой врач и проинформировал меня о состоянии здоровья Седжвика. Перелом двух рук, перелом пальца, укус с вырыванием мягких тканей в районе плеча, многочисленные ушибы грудной клетки, многочисленные раны на лице, потребовавшие наложения двадцати одного шва. «Судья примет

решение, в соответствии с выступлениями свидетелей, будете ли вы нести ответственность за попытку убийства посредством утопления. Как только вы окончательно оправитесь, вы будете переведены в тюрьму «Бордо».

Была середина сентября. Лечение травмы черепа и операция на поясничном позвонке требовали сначала постельного режима, потом мне разрешили под наблюдением вставать — я находился в этой больничной зоне, предназначенной для арестантов, до конца октября. Рид, которого уведомили о случившемся, приехал из Бостона вскоре после битвы и занялся Нук, которая до этого сидела запертая в квартире. Они часто ко мне заходили.

Ноябрьским утром я предстал перед судьей Лоримье.

«По поводу физического насилия, ударов и всяческих ран суду, думаю, все ясно. Не будем тратить на это время. Скорее я хотел бы допросить вас по поводу продолжения ваших агрессивных действий под водой, поскольку ваша драка закончилась на дне бассейна (что само по себе довольно необычно), и вдобавок понадобилось как минимум шесть человек, чтобы разжать ваш захват. Во время этой последней серии ударов,

которыми вы обменивались с вашим противником, находясь под водой, при задержке дыхания, имели ли вы намерение действительно утопить господина Седжвика, или этот последний этап драки был всего лишь продолжением предыдущего, происходящего на твердой земле?» Я ответил, что у меня нет ответа на этот вопрос, что я абсолютно ничего не помню, что не способен оценить мои реальные намерения, поскольку у меня не получается даже восстановить ход событий. «Шесть человек. Шесть человек понадобилось, чтобы оторвать вас от господина Седжвика. Шесть. И судя по их свидетельским показаниям, им пришлось постараться. И укус: 6 на 5 сантиметров плоти вырвано напрочь. Вы отдаете себе отчет? Я видел ваше личное дело, вы ранее никогда не привлекались, прекрасные характеристики с предыдущих мест работы, респектабельная семья, отец — священник в Тетфорд-Майнс, и я вижу вдобавок, что, будучи по национальности французом, вы стали канадцем. Что это вдруг пришло вам в голову? Вы не пожелали ничего объяснить полиции по поводу причины конфликта с вашим работодателем. Может быть, вы скажете что-нибудь мне?»

Есть вещи, которые лучше хранить при себе.

Ну или поделиться ими с женой, отцом или своей собакой. С теми, кто знает всю историю с самого начала, которое зарыто где-то в песках Скагена, и в любом случае не будут ни за что осуждать.

Несмотря на невразумительное словоблудие моего адвоката, окрыленного прозаком, Лоримье все же не стал настаивать на попытке убийства и приговорил меня к двум годам тюремного заключения. В тот же вечер, в момент, когда Барак Обама поднял руки, я вошел, низко опустив голову, в камеру тюрьмы «Бордо».

Как-то вечером год назад Соваж пригласил меня в свой кабинет. Ему позвонил месье Рид и попросил, чтобы он рассказал мне о смерти Нук. Скоротечное заболевание печени. Как называется, он забыл.

Теперь у меня не осталось ничего: ни семьи, ни свободы, ни даже собаки. Я начал плакать прямо при этом человеке, любителе мотоциклов. Все произошло вне меня, далеко от меня, и главное — меня не было рядом с нею, когда наступил конец, ведь я знаю, что она искала мой бок, чтобы уткнуться в него носом, зарыться всей мордочкой.

Я спросил у Соважа, могу ли я присутствовать при кремации моей собаки.

Он ответил — нет.

Я спросил у Соважа, могу ли я хранить ее прах в своей камере.

Он ответил — нет.

Я спросил у Соважа, нельзя ли попросить Рида сохранить ее прах для меня.

Он ответил: «Ну это вы сами должны сделать».

Я вернулся в камеру. Смерть Нук разбудила во мне воспоминания обо всех утратах, постигших меня за последние годы. И мысль, что я оставил собаку одну, рвала мне сердце; мне было уже не до стеснения, и я снова разрыдался — на этот раз при Патрике Хортоне. Тот был весьма озадачен: он качнул головой вправо, потом влево, потом медленно подошел ко мне, обеспокоенно заглянул в лицо и неуклюже протянул ко мне руки, словно человек, который хочет успокоить ребенка, но не знает, как это делается.

— Бля, странно это все. Надеюсь, они не посадят ко мне вместо тебя какого-нибудь кюре, который щупал малолеток? Ну помнишь, тот чувак, о котором мы недавно говорили, вроде епископа, что ли, он там проворачивал свои делишки в летнем католическом лагере. Ростом двенадцать метров и морда у него отвратная, помнишь? А ты вообще чего удумал, когда тебе выходила скощуха,

не мог даже поговорить с этим чиновником! И это доказывает, что эти все чиновники — пшик, они ничего не решают! Ты молоток, кореш, это я тебе говорю. Буду скучать по тебе. А ты, между прочим, обещал не пропадать, пиши, появляйся, не забывай уж там меня. И потом, если что-то узнаешь про эту мою историю с признанием наполовину виновным, ты ведь помнишь про этот финт, чиркни мне обязательно. Тебе теперь надо по чесноку, больше никаких там правонарушений, а не то снова попадешь в тюрягу, сам знаешь. Прямо вот забудь про этого типа, который тебе перешел дорогу, живи дальше. Я-то знаю, что будет дальше. Знаю, что ты сделаешь в первую очередь, как откинешься. Хочешь, скажу? Девять человек из десяти, только выйдут отсюда, час спустя уже ошиваются на улице Сен-Катрин и пырятся на витрины или на Хочелаге байки разглядывают. Опять же футболян там. Но у тебя будет в голове совсем другая штука, ты ведь сразу отправишься за прахом своей собаки. Точняк?

Киран Рид припарковался на бульваре Гуин, возле реки, неподалеку от гидробазы, и ждал меня, прислонившись к крылу своего автомобиля. Когда я подошел поближе, он подбежал и обнял меня. С собой у меня была лишь холщовая

сумка, в которой помещалось все мое имущество. Бóльшая часть вещей из моей квартиры были выброшены или розданы какими-то ликвидаторами, которых наняли, чтобы освободить пространство.

«Вы поедете сейчас ко мне на какое-то время. Квартира достаточно большая, я все приготовил, чтобы вам было удобно».

Мы быстро добрались до «Эксцельсиора». Дело нескольких минут, не более того. Было начало июля, погода стояла прекрасная. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с силами и выйти из машины, решиться пройти через мой гараж, подняться на лифте, пройти по тихим этажам, понять, что в коридорах воняет, выяснить, что сад в запустении, обнаружить, что с бассейном не все в порядке.

За два года изменилось множество мелочей. Я уже был не у себя дома. Да и сам дом меня не узнал.

Прах Нук стоял на полке книжного шкафа в той комнате, которую отвел для меня Киран. Он не занимал много места. Я спросил Рида, присутствовал ли он на кремации. «С начала до самого конца. Можете быть в этом уверены. Это точно Нук, и она тут вся, целиком». Когда он вышел из

комнаты, я схватил урну и прижал ее к своему боку — туда, куда она утыкалась носом.

Вечером Рид повел меня ужинать в новый ресторан, который открылся на улице Ван-Хорн. Он рассказывал мне о болезни Нук, говорил, что оставался с ней до последних минут, потом разговор коснулся «Эксцельсиора», повышения квартплаты, междоусобных войн жильцов, недостатков моего преемника и угасающей ауры Эдварда Седжвика. «Поль, я бы хотел задать вам один вопрос. Он крутится у меня в голове с того момента, как вас увезли в тюрьму. В таком ремесле, как мое, ну вы сами знаете, я сталкивался с множеством странных вещей. Но уверяю вас, я впервые вижу человека, который был способен сломать одновременно обе руки своему сопернику, обе в едином порыве. И при этом два настоящих перелома, подлинных. Как вам удалось осуществить такой магический прием?» Я никогда не задумывался об этом. Особенно в таком плане. И я, конечно, не смог предоставить внятный ответ. Но зато на обратной дороге я вдруг подумал, что из всех обстоятельств битвы Кирана гораздо больше заинтересовал перелом, а не факт, что я вырвал зубами изрядный кусок мяса из плеча Эдуарда Седжвика.

Мы говорили об этом весь следующий день. И потом еще целый день. Он считал, что это неоправданный риск. Я же, в свою очередь, считал это основным этапом своей реабилитации. Поскольку я не являюсь больше консьержем здания, то могу воспользоваться новым статусом гостя, позволяющим мне — естественно, с позволения Кирана — проплыть пару-тройку раз в бассейне под неотрывным взглядом Седжвика, немного позагорать в шезлонге, затем надеть купальный халат и вернуться в квартиру Кирана, с высоко поднятой головой, с духом, промытым и освобожденным от тягостных ночей, преисполненных гнева и ненависти.

Сегодня был идеальный момент. Вторая половина знойного дня, коэффициент влажности зашкаливает; это час, когда осы прилетают на водопой, а владельцы квартир желают освежиться и развеять дурные мысли и при этом найти повод обзавестись новыми. Час, когда за каждыми плавками или купальником таится могучий демон. Этот час, который был запрещен мне правилами, как, впрочем, и все остальные. Почему? А потому что. Час, когда солнцезащитные кремы отбрасывают аристократические блики, стаканы с мартини пахнут концом послеобеденной партии

в карты, а старики цепляются за уплывающие жизни.

Мы прошли бок о бок через главную дверь в холле, не заметить нас было невозможно. Два ослепительно-белых халата. Рид расположился в шезлонге, я положил возле него халат.

Я подошел со стороны ножной ванны и медленно, ступенька за ступенькой, спустился в воду. Перед тем как скрыться под водой, я оглядел весь этот высший свет, собравшийся вокруг меня, эти линии собственников, расположившихся по горизонтали. Выстроенных по росту или же по весу в обществе. Все те, кто меня изгнал, были здесь, намазанные маслом и медленно розовеющие, как поджаривающееся старое мясо. С того места, с которого я видел их, они казались мелкими и ничтожными.

Седжвик был на своем посту, в самом центре, в сердце своего принципата. У верховного главнокомандующего лицо было бледным как воск, на плече белел противный шрам. Он тоже показался мне совсем маленьким и «совершенно незначимым», как говорил Йохан. Все разговоры прекратились. Все взгляды были направлены на меня, как будто я некий северный магнитный полюс, как будто ось земли внезапно сместилась.

Я мгновение слушал эту безупречную тишину, а потом нырнул в самую глубину вод. Я плыл под водой с задержкой дыхания так долго, как только можно было, чтобы всем показалось, что это всего-навсего мой призрак, поглощенный бассейном, растворенный его солями, слившийся своим чередом в канализацию. Когда легкие были уже готовы взорваться, я вынырнул из воды, как кит-полосатик, прежде чем вновь погрузиться в пучину вод. Я специально тщательно побрился, чтобы чувствовать ласкающее прикосновение воды к лицу — легкое, мягкое. Текстура изменилась, она не была больше безупречной, но все равно вода делала свое дело — прочищала мозг, вымывала из головы все дурное, нечистое. Три или четыре раза я скрывался под водой и потом опять выныривал. Перед тем как окончательно покинуть сцену, я внимательно оглядел бедных статистов, которые пытались наилучшим образом играть свои роли и служить декорацией спектакля. Я приблизился к бортику, оперся на него и, сохраняя горизонтальное положение на плаву в выгодной позе лежащего стрелка, уставился на Эдуарда Седжвика. Смотрел на него в упор, как на дохлое животное. Ему, видимо, показалось, что этот сеанс наблюдения тянется века,

но он не тронулся с места, и я сполна насладился восхитительным зрелищем попранной гордыни да покусанного плеча.

Когда я почувствовал, что мое сердце бьется уже совершенно ровно и спокойно, то медленно, ступенька за ступенькой, вышел из воды и увидел, что где-то в траве, радостно навострив уши, восторженно мельтеша хвостиком, меня ждет моя собака Нук.

Когда я вытянулся в шезлонге возле Кирана, он сказал мне: «Выглядело действительно опасным. Примерно как касатка, резвящаяся в аквапарке».

Несколько мгновений спустя Седжвик встал с шезлонга и, сделав изрядный круг, чтобы не пройти мимо нас, ушел. Увидев, как он бесславно удаляется, Рид задумчиво сказал: «А знаете что, Поль? В конце года выставлю-ка я свою кандидатуру против него…»

Чтобы вновь адаптироваться к жизни на земле, я две недели провел в Монреале. Сходил в магазин «Чептерс», чтобы купить три книги: «Харлей — Дэвидсон, полная история», «Харлей — Дэвидсон, Спортстер» и «Преобразите ваш Харлей», в двух томах.

Я не знал, сколько лет Патрику придется провести в тюрьме, но с этими монографиями ему

будет куда уйти от тюремной жизни — прямо под носом у тюремщиков. И, почему бы и нет, произвести впечатление на Эмманюэля Соважа. А сам я решил воспользоваться предоставленной мне свободой и отправиться в Данию. Я не знал, сколько времени я там проживу, но моя дорога была настоящей дорогой в небеса: Монреаль, Женева, Осло. Затем паром, шоссе, Орхус, Раннерс, Ольборг и, на самом верху полуострова, Скаген.

Для того, очевидно, чтобы я мог прийти в себя и подготовиться к такому долгому путешествию, Рид благородно оставил мне квартиру и уехал в Бостон. Он звонил мне каждый вечер и, опасаясь конфликтов, просил обещать, что я не буду плавать в бассейне в его отсутствие. Но у меня и так не было никаких резонов туда возвращаться. То, что необходимо, было уже сделано.

Мне осталось осуществить только еще один план. Накануне отъезда я взял такси и отправился на остров Нотр-Дам. Там располагалось огромное казино, в котором Йохан никогда не играл. Скромный Moneymaker, который усугубил его беды и несчастья, вскоре после этого завершил свое существование, уступив место грандиозному предприятию по отлову удачи, заводу, специализирующемуся на производстве судьбы, — семь

дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки конвейер перерабатывал случайности и подрезал крылья зарвавшимся везунчикам.

Я поднялся по огромной лестнице, залитой светом. Залетные игроки и завсегдатаи бродили от столика к столику, возбужденные бессмысленной надеждой; каждый из них верил в маленький неугасимый огонек внутри, который укажет верный путь. Они верили, что в один прекрасный день все получится, потому что они ждали этого всю жизнь и полагали, что стали уже наконец достойны. Muss es sein? Es muss sein[16].

Йохан, Вайнона, а между ними Нук — все трое ждали меня возле стола, где играли в рулетку. Мои мертвые были самые живые в этом мире. Самые верные, самые отважные. Всегда готовые рискнуть. Они терпели кишечные потуги Хортона и воющие трубы тюрьмы, холод в камерах и томительность долгого дня. На этом острове, в этом горниле проигрышей, они в который раз удивили меня. Они задолго до меня знали, что я приду сюда, чтобы своим собственным способом отомстить за Йохана, заплатить по счетам, отдать долги, навести порядок в бухгалтерии.

---

[16] Примечания: 16

Название четвертой части струнного квартета Бетховена. «Так должно быть? Да, так должно быть» (*нем.*).

Мы долго стояли вчетвером и наблюдали, как вертится цилиндр на деревянной панели, как прыгает шарик между медных пластин циферблата, как несчастные люди по доброй воле ставят и ставят свои жетоны. Они надеялись выиграть, ставя на красное, на черное, на чет или нечет, на угол или на крест, на колонну или дюжину, на отдельные номера, на зеро. Злосчастье предлагало богатый выбор цветов и вариантов.

Отец испробовал их все, то разом, то по очереди, смешал все цвета в единый ком, ставший бесцветным, до той степени, что вообще ничего не осталось, до той степени, что одной злополучной ночью женщина обхватила его щеки, поцеловала и сказала: «Пусть Бог, если он вас видит, благословит вас».

Мне было хорошо. Я смотрел на своих любимых. Я мог слышать, как бьются их сердца, мог ощущать на своем лице их дыхание. Рядом с ними я чувствовал себя в покое и безопасности. У меня было ощущение, что они оберегают меня, хранят мою жизнь, все трое вместе и каждый по отдельности. Я хотел, чтобы они знали, как же сильно я их люблю.

Когда крупье сказал: «Делайте ваши ставки, господа», я поставил свои жетоны на сумму сто

долларов на черное и вышел из зала. Пока я шел, я услышал: «Ставки сделаны». При последнем объявлении, «Ставок больше нет» я уже шел по направлению к реке, предоставив крупье разбираться с результатом.

На следующий день, с пеплом собаки в багаже, к назначенному часу я явился к самолету. Долгий перелет, затем аэропорт Женева-Куантран. Долгие часы ожидания, чтобы попасть в другой мир.

Аэропорт Каструп в Копенгагене, затем корабль, потом долгая дорога в дюнах, которая, становясь по ходу движения все у́же, приводит меня к северной оконечности полуострова.

Воздух становился прохладнее. Солнце ослепительно сияет. Водораздел проливов, граница морей. Скаген.

Отель. Сон, нуждающийся в помощи лоразепама. Дурные мысли, которые выскакивают из-за угла и разбредаются по комнате.

Солнце встает, как на картине местного художника, неторопливо озаряя своим светом людей и корабли, дюны и волны.

Я иду по улице вдоль моря. Она называется Ostre Stradvej — Дорога Устриц. Издалека я замечаю высокий дом с красной крышей — дом Хансенов. Он смотрит фасадом на Балтийское море. Ветер

гнет деревья и вздымает рои песчинок, которые скапливаются возле фундаментов домов.

Я вдыхаю пахнущий морем воздух этой страны. Это все, что у меня есть.

Очень скоро я завершу свой долгий путь, подойду к двери дома, где живут «свои», родные, постучусь, кто-то откроет мне, и, как научил меня отец, скажу ему: «Hej, søn ag Johanes Hansen».

«Я сын Йохана Хансена».

Благодарности

Моя самая глубочайшая признательность Сержу Асселену за его дружескую поддержку и драгоценную экспертизу.

Всяческие выражения нежности Женевьеве, Клер и Дидье.

Я хочу еще напомнить об огромной привязанности к Аурелии Лоранс, Лидии, Вирджинии и Пьеру, а также Жанне, Натали, Полине, Вьолен, Натали, Клеману и, конечно, Оливье: после того, как много лет назад мы познакомились у Оливье, у которого я гостил, они много раз поддерживали меня и всячески помогали, за что я им неизъяснимо благодарен.